



Пушкинские звукообразы в “Медном Всаднике” Вяч. Иванова

А.Г. ГРЕК,

кандидат филологических наук

Уже само название стихотворения Вяч. Иванова отсылает к одноимённой пушкинской поэме. Сравнивая эти произведения, А.Б. Шишкин замечает, что оба “исходят из мифа о начале Петербурга петровской эпохи”, хотя название ивановского стихотворения “непосредственно указывает на пушкинский миф”. В конце обоих текстов появляется царь-демиург. «Но если у Пушкина, – пишет тот же автор, – слышится “тяжёло-звонкое скаканье”, то ивановская Сивилла слышит, “как тупо / Ударяет медь о плиты... / То о трупы, трупы, трупы / Спотыкаются копыта...” – жертва Петра уже не один Евгений, но множество восставших против самовластного произвола» (Русские пиры. Вып. 3. СПб., 1998. С. 280).

Узнаваемые пушкинские звукообразы в стихотворении “Медный Всадник” между тем соотносятся не только с одноимённой поэмой, но и с другими произведениями великого поэта, отношение к которому у Вяч. Иванова было “последовательно и откровенно культовое” (С.С. Аверинцев).

Стихотворение “Медный Всадник” было написано в 1906 году в Петербурге, некоторое время спустя после возвращения Иванова и Л.Д. Зиновьевой-Аннибал в Россию. В цикле “Сивилла”, включённом позже в первую часть книги “Сог Ardens”, оно идёт вслед за стихотворением “На башне”. В этих и других произведениях уже явно обнаруживаются пушкинские “уроки” звукописи. Но теоретически пушкинская звукопись была осмыслена Вяч. Ивановым позже: в статье 1908 года «О “Цыганах” Пушкина» и в статье 1925 года “К проблеме

звукообраза у Пушкина”. В первой он, по словам С.С. Аверинцева, “с какой-то кровной заинтересованностью обсуждает пушкинскую фоннику, звуковую стихию”, а его наблюдения, “будучи достаточно конкретными и точными в отношении Пушкина, одновременно характеризуют поэтику самого Вяч. Иванова” (Аверинцев С.С. Вяч. Иванов и русская литературная традиция // Связь времён. Проблемы преемственности в русской литературе конца XIX – начала XX века. М., 1992. С. 301). По поводу второй ивановской статьи, написанной в Риме, но вышедшей лишь пять лет спустя в Москве, С.С. Аверинцев замечает: “...пристальное внимание поэта к пушкинской технике (...) – очевидная установка на ученичество” (Там же. С. 302). “О кровной заинтересованности”, “пристальном внимании” и “установке на ученичество” следует помнить при последующем анализе пушкинской фонники.

В статье «О “Цыганах” Пушкина» Иванов пишет о мелодическом лейтмотиве поэмы – о звуках “полных и гулких, как отголоски кочевий в покрытых седыми волнами ковья раздольях, грустных, как развеваемый по степи пепел безмянанных древних селищ”, о звуках, которые “приближают нас к таинственной колыбели музыкального развития поэмы, обличают чисто з в у к о в о е заражение певца лирической стихией бродячей вольности” (разрядка наша. – А.Г.). Говоря о господствующем в стихах поэмы звуке “у”, Иванов обозначает выражаемые им смыслы: импрессионистически и интуитивно-свободно в статье (“То глухого и задумчивого, уходящего в былое и минувшее, то колоритно-дикого, то знойного и узывно-унылого”) и более строго в примечаниях к ней (ср.: «Уже и начинается поэма со звуков: “Цыганы шумною толпой по Бессарабии кочуют – – – ночуют”. И песня (...) со звуков: “Старый муж, грозный муж...” Рифмы: “гула”, “блеснула”, “Кагула” – отвечают основному звуку: “Мариула»» (Иванов Вяч. Собр. соч. Брюссель, 1987. Т. IV. С. 301, 302, 744; далее – только том и стр.). К доминантному звуку “у” в связи с “глубоко женственным и музыкальным именем: Мариула” Иванов возвращается и в следующей своей пушкинской статье, полагая, что в “Цыганах” звуковая стихия предшествовала сюжетному замыслу: «Едва ли не женское имя “Мариула” с его рифмами-эхо: “гула”, “Кагула” (...) было первым звуковым стимулом к созданию поэмы» (IV, 346).

В статье 1925 года “К проблеме звукообраза у Пушкина” Иванов обнаруживает, что у Пушкина единство господствующего звуко сочетания проявляется как в отдельных стихотворениях, так и в формально замкнутых мелических эпизодах, частях обширных композиций. Звукообраз при этом определяется как “морфологический принцип целостного творения”. В его составе звуковое ядро сочетается “с первым смутным представлением”. Автор различает три случая такой связи. К первому относится простое звукоподражание. В качестве примера названы пушкинские “Стихи, сочинённые ночью во время бессонни-

цы...”, которые “как бы предназначены самим поэтом для произнесения шёпотом: из шёпота и чуткого прислушиванья к ходу часов и стуку сердца, к неуловимым ночным шорохам и шелестам возникли они”. При посредстве ритмического приёма и “фонетической окраски (шипящих, шёпотливых согласных в сочетаниях *уч, ч, шь, чу*, прерываемых то трепетным, тревожным *тр*, то тающим *нь*, то роковыми грозящими *ра, ар, ро, ор*)” эти стихи изображают звуками и *спящей ночи трепетанье*, “и перебой сердца, угнетаемого жутью непроницаемой, но таинственно оживлённой тьмы, и усилия одиночаствующего сознания отстоять в этой борьбе между *я* и *не-я* себя, и свой человеческий смысл перед безликим разоблачением сбросившего маску явлений тёмного мирового хаоса...” (IV, 345–346).

Ко второму случаю связи звукового ядра и представления Иванов относит такое их сочетание, которое обусловлено особенностями поэтического восприятия. В качестве примера он приводит “влажную” и эротическую эмблематику звука *ю* в “Песне Рыбки” Лермонтова и “рдяный” *р* в пушкинском стихе “Роняет лес багряный свой убор”.

Называя Пушкина “словесником по преимуществу, ставящим себе главной задачей выяснить всю, звуковую и смысловую {...} ценность слова самого по себе”, Иванов отмечает, что наиболее ярко у Пушкина представлен третий случай исследуемого сочетания. При этом звукообраз опирается на “словесное богатство живой речи”, корневой состав языка и собственные имена. Такой тип основного звукообраза наблюдается не только в поэме “Цыганы”, но и в других стихотворениях, включая: “Бурю” с “красочными *бу, бр, бел, бл*”; “Заклинание” с «настойчивой рифмой, замыкающей вызывательным “сюда” каждую строфу»; “Обвал” с “музыкой тяжкого падения и глухого раската”; “Воспоминание” – само заглавие которого содержит “в зерне всё его музыкально-психологическое развитие” и др. Общий итог своих наблюдений Иванов заключает в афористично-сжатое и выразительное суждение: «“Образами мыслит поэт” – говорили нам, прежде всего он мыслит звуками» (IV, 346–349)¹.

Уместно напомнить, что наблюдения Иванова над звукообразами в поэме “Цыганы” послужили исходной точкой в размышлениях П.А. Флоренского о постижении духовной сущности имени через его звуковой состав. «“Цыганы” есть поэма о Мариуле, иначе говоря, всё произведение роскошно амплифицирует духовную сущность этого

¹О теории звукообраза Вяч. Иванова, разработанной им в статьях, лекциях и беседах и полемически направленной не только против формулы А.А. Потебни: “Искусство – это мышление образами”, но и против методологии формалистов, – см.: Эткинд Е.Г. Там, внутри. О русской поэзии XX века. СПб., 1997. С. 190–191).

имени и может быть определено как аналитическое суждение, подлежащее коего – имя Мариула (...) Но как имя воплощено в звуке, то и духовная сущность его постигается преимущественно вчувствованием в звуковую его плотность. Этот-то звуковой комментарий имени Мариулы и содержится в “Цыганах”» (Флоренский П.А. Имена. М., 1993. С. 15).

О научной ценности этих ивановских статей для пушкиноведения, истории и теории стиха, лингвистической поэтики писали не раз (см., в частности: Мануйлов В.А. О Вячеславе Иванове // Иванова Л. Воспоминания. Книга об отце. М., 1992. С. 351).

Однако обратимся к рассмотрению пушкинских звукообразов в “Медном Всаднике” Вяч. Иванова (здесь, в заглавии, и далее – в тексте стихотворения сохранены особенности авторской орфографии и пунктуации, наиболее точно и бережно воспроизведённых брюссельским изданием; см.: Иванов Вяч. Указ. соч. Т. II. С. 259–261). Для удобства анализа, предполагающего соучастие читателя, приведём стихотворение полностью, отмечая цифрами каждую строфу:

Медный Всадник

- В этой призрачной Пальмире,
 1. В этом мареве полярном,
 О, пребудь с поэтом в мире,
 Ты, над взморьем светозарным
- Мне являвшаяся дивной
 2. Ариадной, с кубком рьяным,
 С флейтой буйно-заунывной
 Иль с узывчивым тимпаном, –
- Там, где в гроздьях, там, где в гимнах
 3. Рдеют Вакховы экстазы...
 В тусклый час, как в тучах дымных,
 Тлеют мутные топазы,
- Закружись стихийной пляской
 4. С предзакатным листопадом
 И под сумеречной маской
 Пой, подобная Мэнадам!
- В жёлто-серой рысьей шкуре,
 5. Увенчавшись хвоей ельной,
 Вихревой взвейся бурей,
 Взвейся вьюгой огнемельной!..

- Ты стоишь, на грудь склоняя
6. Лик духовный, – лик страдальный,
Обрывая и роняя
В тень и мглу рукой печальной
- Лепестки прощальной розы, –
7. И в туманные волокна,
Как сквозь ангельские слёзы,
Просквозили розой окна –
- И потухли... Все сменилось,
8. Погасилось в волнах сизых...
Вот – и ты преобразилась
Медленно... В убогих ризах
- Мнишься ты в ночи Сивиллой...
9. Что, седая, ты бормочешь?
Ты грозишь ли мне могилой?
Или миру смерть пророчишь?
- Приложила перст молчанья
10. Ты к устам, – и я, сквозь шёпот,
Слышу медного скаканья
Заглушённый тяжкий топот...
- Замирая, кликом бледным
11. Кличу я: “Мне страшно, дева,
В этом мороке победном
Медно-скачущего Гнева”...
- А Сивилла: “Чу, как тупо
12. Ударяет медь о плиты...
То о трупы, трупы, трупы
Спотыкаются копыта”...

Некоторые особенности звуковой организации этого стихотворения уже привлекали внимание исследователей. Так, Н.А. Кожевникова писала о звуковой отражаемости заглавия: «От слова “медный” в заглавии “Медный всадник” тянется цепь слов: *дымных, мутные, менадам, медленно*” (Очерки истории языка русской поэзии XX века. М., 1990. С. 286). Примечательно, что этому же звуковому принципу организации текста, но уже в произведениях Пушкина посвящена работа Кожевниковой, написанная ранее (см.: Проблемы структурной лингвистики. 1985–1987. М., 1989. С. 290, 297 и др.). Заключительные строки: “То о трупы, трупы, трупы / Спотыкаются копыта...” – обычно приводятся как пример традиционной звукописи у Вяч. Иванова (Барзах А.Е. Материя смысла // Иванов Вяч. Стихотворения. Поэмы. Трагедия. СПб.,

1995. Т. 1. С. 42) или в ряду других примеров из русской поэзии (Тарановский К.Ф. О поэзии и поэтике. М., 2000. С. 348).

Помня о соотносённости звукового ядра имени Мариула и звуковой стихии пушкинских “Цыган”, приступим к анализу звукового состава заглавия стихотворения и его “комментария” (по Флоренскому) в тексте.

Заглавное имя *Медный Всадник* содержит повторяющийся звукокомплекс *дн-дн*. Его звучность в первом слове усиливается соседствующими *М* и *й*, а во втором – ему предшествующим начальным *В*. Звуковой контраст в слове *Всадник* создаётся погашающими звучность доминирующего звукообраза глукими *с* и *к*.

В первой строфе стихотворения наблюдается то сдержанно-равновесное, то интенсивно-сгущённое повторение наиболее звучных согласных звукового ядра заглавного имени: *В-н-м* – 1 строка, *В-м-м-в-н-м* – 2 строка, *м-в-м* – 3-я и *н-в-м-м-в-н-м* – 4-я. Во второй строфе, которая начинается с *Мне*, обозначенная звуковая тема получает развитие, “втягивая” в свою орбиту новые звучные консонанты и усложняясь: *Мн-вл-в-д-вн-й* / *-дн-й-б-м-р-н-м* / *-л-й-й-б-йн-н-вн-й* / *-л-в-в-м-м-н-м*. Звуковое ядро имени *Ариадна* в начале второй строки содержит повтор звуковой доминанты заглавного имени (*дн*) и напоминает одновременно о звукообразе топонима *Пальмира* первой строфы стихотворения (ср. их взаимную отражаемость: *Ариа-а* и *а-ира*). Начало третьей строфы отмечено звуковым сгущением темы *м-д*: “Там, где в гроздьях, там, где в гимнах...” Однако смысл заявленной темы проясняют следующие признаковые имена: *дымных* и *мутные*, в звуковом составе которых *н* и *д* в комплексе *дм* (в варианте *д-м-м-т/д*) добавляются два энергичных *н* и один *й* (в составе *йе*). В четвёртой строфе – и особенно в самом её начале: “Закружись стихийной пляской / С предзакатным листопадом...” – казалось бы, намечается затухание звуковой темы. Однако в *предзакатным* и *листопадом* с звукорядом *д-н-м-д-м* можно видеть возвращение к той же теме. В заключительной же строке с венчающим её именем *Мэнада* (в форме *Мэнадам*) происходит уже форсированное приближение к теме *М-дн*.

С пятой по двенадцатую строфу плотность связанного с основным звукообразом рисунка, его богатство и изощрённость ослабевают, умягчаются. На этом фоне особенно значимым представляется усиление смысловой определённости заявленного в названии стихотворения звукового ядра. Это прослеживается в следующих семантически и фонически соотносённых словах: *медленно* (8), *Мнишься* (9), *медного* (10), *бледным – победном – Медно-* (11), *медь* (12).

При рассмотрении примеров дифференциации первоначального звукообраза в пушкинском стихотворении “Воспоминание” Иванов обращает внимание кроме основного звукообраза *мн* на «язвительный», неотразимый” *з, с*» (IV, 348). В “Медном Всаднике” Вяч. Иванова

встречается звук *с* в заглавном имени (*Всадник*), а в первой строфе он входит в состав признакового имени *светозарный*, коррелируя в нём с бодрящим и звучным *з*, который здесь употребляется ещё в *призрачной* и *взморьем*. В звуковом пространстве третьей и четвёртой строф *с* и *з*, чередуясь и сменяя друг друга как в синтагматическом ряду, так и по вертикали, заявляют о себе настойчиво и ярко. Эти звуки образуют контрастную группу основному звукообразу, выражающему себя в комплексе *м-д-н*. Возникший контраст снимается уже в пятой строфе звукокомплексом *в-с-/-с-в*, который в варианте *Вс* встречался в заглавном имени, а в девятой строфе появится в ключевом для всего стихотворения имени *Сивилла* с его начальной консонантной группой *С-в*.

Стиховое пространство между пятой и девятой строфами содержит две линии развития побочного, в сравнении с основным *м-дн*, звукообраза с его то угрожающим и рассеивающе-тихим *с*, то пронзительным и “неотразимым” *з*. Так, в седьмой строфе наблюдается возврат к контрастно звучащей по отношению к основному лейтмотиву теме *з-с* (см. заключающие первые три строки *розы – волокна – слёзы*). Но здесь же в корневом повторе *сквозы/Просквозили* с его консонантной группой *с-в-з* можно видеть сближение двух недавно звучавших контрастно тем. В восьмой строфе развитие этой преодолевшей контраст и дифференциацию группы получает новый импульс: *Вс-с-с/с-с-в-в-с-з/В-з-с/з*.

Пушкинские звукообразы встречаем и в несомненно цитатном фрагменте девятой строфы стихотворения: “Что, седая, ты бормочешь? / Ты грозишь ли мне могилой? / Или миру смерть пророчишь?”. Вспоминаются “Стихи, сочинённые ночью во время бессонницы...” и анализ их фоники, проведённый Вяч. Ивановым и Р.О. Якобсоном (см.: Якобсон Р.О. Работы по поэтике. М., 1987. С. 204–205). “Шёпотливые согласные” и “шипящие намёки” (Вяч. Иванов) в [Ш]то – *бормочешь – грозишь – пророчишь* здесь приведены в непосредственное соседство с “роковыми грозящими *ор, ро, ру, р*” – см. *бормочешь – грозишь – пророчишь*.

Стих Пушкина, писал Вяч. Иванов, отличается высокая степень организованности, звуковой в том числе, – однако “вместе с чисто классическим стремлением не делать нарочито приметным просвечивающий, но как бы внутрь обращённый узор звуковой ткани” (IV, 343). Что же касается самого Вяч. Иванова – “дионисийца” и символиста, – то его стих обнаруживает “необычное для русской поэзии накопление согласных, особенно на границах слов” (Аверинцев С.С. Поэзия Вячеслава Иванова // Вопросы литературы. 1975. № 8. С. 162). Это относится и к стихам его “Медного Всадника” – при всей ощутимости в них пушкинского влияния.

Различие между двумя поэтами – создателями мифа о Петербурге – особенно ощутимо являет сравнение стиховых фрагментов, или “мели-

ческих эпизодов”, в которых представлены темы Медного Всадника и водной стихии, их фоника и основные звукообразы. Приведём лишь несколько примеров из пушкинской поэмы и стихотворения Вяч. Иванова.

“Кто неподвижно возвышался / Во мраке медною главой, / Того, чьей волей роковой / Под морем город основался... / Ужасен он в окрестной мгле! (...) Куда стопы не обращал, / За ним повсюду Всадник медный / С тяжёлым топотом скакал”. См. соответственно: *т-н-дв-н-в-зв-с/В-м-м-дн-в/Т-в-в/д-м-м-д-сн-в-с* (...) *с-н-н-в-стн-м* (...) *д-ст-н-/З-н-м-вс-д-Вс-дн-м-дн/С-т-м-т-т-м-с*. Здесь скорее “внутри обращённый узор звуковой ткани”, нежели смысловыделительная форсированная звукопись.

У Иванова тема стихии прослеживается в основном во второй, третьей, четвёртой и пятой строфах, вместе с ключевыми для этого фрагмента именами *Ариадны* и *Мэнад* и образами *пляски*, *бури*, *вьюги огнехмельной*. Напор и напряжение в изображении стихии здесь наиболее явно связаны с группами согласных, скопление которых в небольших текстовых границах особенно затрудняет их произнесение. См. ряд примеров из различных строф текста: *бк-фл-йн-вн-вч-вм-мп* (2), *гд-гр-гр-здьй/я-кст-скл-тл-тн* (3), *кр-ст-ск-пр-тн-чн* (4), *лт-шк-нч-ви-хв-хр-взв-йс-гн-хм* (5).

Совсем иная “живопись звуков” в соответствующих эпизодах пушкинской поэмы. Звуковые контрасты, сгущения и “пороги”, изображающие внезапность, динамизм и силу разгулявшейся стихии, соседствуют с звуковыми образами, преимущественно смешанного, консонантно-вокалического типа, передающими нарастание стихии или вызванную ею “разрешительную” свободу, всё проникающую полноту и “мягкость”. Сравним:

“Погода пуще свирепела, / Нева вздувалась и ревела (...) И вдруг, как зверь остервенясь, / На город кинулась. Пред нею / Всё побежало, всё вокруг / Вдруг опустело – воды вдруг / Втекли в подземные подвалы, / К решёткам хлынули каналы / И вспыхнул Петрополь, как тритон, / По поясу в воду погружён”. Здесь группы согласных типа *св-взд-вдр-зв-ст-кр-вт-вспл-тр-гр* идут в разрежающем их ряду одиночных консонантов (см. звукопись первого и заключительного стихов приведённого фрагмента: *П-г-д-п-щ-св-р-п-л* (...) *П-п-й/я-с-в-в-д-п-гр-ж-н*), в этом можно видеть не только произвольность звуковой стихии поэмы, её естественную близость “живой речи”, но и гармонический принцип, определивший “звуковое заражение” творения Пушкина и его художественный итог. Консонантно-вокалические повторы, доминирующие в этом фрагменте поэмы – см. *да-ла/Нева-вала-вела* (...) *воды/ли-ны-валы/нули-налы/лы-воду*, – подтверждают сделанное наблюдение.

Пушкинский гармонический принцип звукорасположения наиболее сильно ощущается в седьмой и восьмой строфах стихотворения

Вяч. Иванова. Ср.: “Лепестки прощальной розы, – / И в туманные волокна, / Как сквозь ангельские слёзы, / Просквозили розой окна...” (7). Сгущённость звукового рисунка с повторами согласных и трудно произносимых групп согласных, их подчёркнутая выделенность и изоциркованность в расположении, – то есть всё то, что наблюдаем здесь у Иванова и что в целом характеризует фонику и строй его произведений, у Пушкина локализовано в пределах одной-двух строк или выступающих в их составе синтагм. Ср.: *Мгновенно гневом возгоря (Мгн-нн-гн-в-м-в-зг), грома грохотанье (гр-гр-ный/е), Котлом клокоча и клубясь (К-тл-кл-к-кл), Петрополь, как тритон (П-тр-п-тр-т)* и др.

Сказанным не исчерпывается глубина усвоения Вяч. Ивановым пушкинских уроков звуковорчества – даже в столь созвучном Пушкину стихотворении “Медный Всадник” увидено и рассмотрено далеко не всё. Но ведь за этим и ему подобными текстами стоит множество других в творчестве вновь открываемого читателем “самого символистского из всех символистов” (С.С. Аверинцев) поэта Вяч. Иванова. Их мерцающие, или ярко вспыхивающие, или горящие ровным светом пушкинские звукообразы говорят нам о том, что “культура – это не что иное, как рост благоговения, уважения к предкам”, а поэт есть “орган народного воспоминания” (Вяч. Иванов).

Луганск,
Украина





“Поэма без героя” и “Маскарад”

О.А. ЛЕКМАНОВ,

кандидат филологических наук

Драма М.Ю. Лермонтова “Маскарад” относится к числу весьма значимых подтекстов “Поэмы без героя” А. Ахматовой.

Сами даты жизни Лермонтова (1814–1841), как представляется, соотносились А. Ахматовой (чуткой к нумерологическим совпадениям) с датами начала двух великих российских войн XX века. В свою очередь, эти даты (1914 и 1941) читатель “Поэмы без героя” все время должен держать в памяти: канун нового, 1941-го года многозначительно совмещен у Ахматовой с кануном нового, 1914-го года.

Существенные переключки с “Маскарадом” содержит любовная фабула “Поэмы без героя”. Отсутствие в первой части произведения Ахматовой мотива *яда*, играющего столь важную роль в драме Лермонтова, компенсируется во второй части поэмы: “И над тем флаконом надбитым / Языком кривым и сердитым / Яд неведомый пламенел”.

В “Поэме без героя” можно выявить еще целый ряд ключевых для “Маскарада” мотивов. Прежде всего – это заглавие драмы Лермонтова, упоминаемое уже во вступительной ремарке к первой части поэмы Ахматовой (“Маскарад. Поэт. Призрак”). Далее в поэме встречаем характерно “лермонтовскую” характеристику маскарада: “... но беспечна, пряна, бесстыдна / Маскарадная болтовня”.

Напомним также, что как в поэме Ахматовой, так и в драме Лермонтова изображен персонаж, наделенный сходством с дьяволом (М. Кузмин – в “Поэме”: “Я надеюсь, Владыку Мрака / Вы не смели сюда ввести? / Маска это, череп, лицо ли – / Выражение злобной боли, / Что лишь Гойя мог передать. / Общий баловень и насмешиник...”; Шприх в характеристике Арбенина и Казарина – в “Маскараде”: “Улыбка злоб-

ная, глаза... стеклярус точно, /⟨...⟩/ Пусть будет хоть сам чёрт!.. да человек он нужный...”). А сюжетобразующий для пьесы Лермонтова мотив потерянного на маскараде браслета варьируется во вступительной ремарке ко второй части “Поэмы без героя”: “Только что пронеслась адская арлекинада тринадцатого года, ⟨...⟩ оставив за собою ⟨...⟩ дым факелов, цветы на полу, *навсегда потерянные священные сувениры...*”

Приведем теперь свидетельство из записной книжки Ахматовой, почти прямо говорящее о том, что замысел поэмы сложился под непосредственным впечатлением от постановки “Маскарада”, осуществлённой Всеволодом Мейерхольдом: «... это случилось, когда я стояла с моим спутником на Невском (после генеральной репетиции “Маскарада” 25 февраля 1917 г.)» (Записные книжки Анны Ахматовой. 1958–1966. М. = Torino, 1996. С. 144). Прозаические наброски к “Поэме без героя”, сохранившиеся в ахматовских записных книжках, показывают, что текст произведения Ахматовой вобрал в себя реминисценции не только из драмы Лермонтова, но и из одноимённого спектакля Мейерхольда: «С маскарада возвращается (козлоногая), с ней неизвестный ⟨...⟩ Панихида, как в “Маскараде” Мейерхольда (свечи, вуали, ладанный дым)» (Там же). Возможно, что именно к спектаклю Мейерхольда восходит и весьма существенный для “Поэмы без героя” мотив множества *зеркал*. “Матовые зеркала, стоящие на просцениуме, – писал рецензент мейерхольдовского “Маскарада”, – отражали море огней зрительного зала” (цит. по: Мейерхольд в русской театральной критике. 1892–1918/Сост. и коммент. Н.В. Песочинского, Е.А. Кухты, Н.А. Таршас. М., 1997. С. 353).

Отметим, что Мейерхольд и его постановки не обойдены вниманием в ахматовской поэме: в первой главе первой части в гости к лирической героине заявляется Далертутто (сценический псевдоним режиссёра), а во второй – упоминаются “Мейерхольдовы арапчата” (персонажи, введённые режиссёром в постановку мольтеровского “Дон Жуана”).

Остаётся добавить, что сама история создания ахматовской “Поэмы без героя” (растянувшегося на долгие годы) в какой-то мере сходна с судьбой “Маскарада”, который Лермонтов многократно переделывал.

Очерк Ап. Григорьева “Великий трагик”:

лексико-стилистические особенности

С.В. МОЛЧАНОВА

Этот очерк Ап. Григорьев считал составной частью книги “Одиссея последнего романтика”, куда входили стихотворный цикл “Борьба” (со знаменитой “Цыганской венгеркой”), поэмы “Venezia la bella” и “Вверх по Волге”. Соседство с поэтическими произведениями заставляет внимательно приглядеться к этой работе, исключительной даже в таком оригинальном творчестве, какое отличало создателя “органической критики”.

Свободное соединение жанров – характерная сторона дарования Ап. Григорьева – усилена свободным соединением двух языковых стихий, русской и итальянской. “Начин” очерка выдержан в традиционном стиле. Это «связано с особым построением фразы, включающей “повторы”, “возвраты”, спиральное её развёртывание» (см.: Русская речь. 1976. № 4. С. 15). При этом ощущается сказовая интонация. Вместе с тем, с первых строк автор демонстрирует антитезу и сопряжённую с ней антонимию как важнейшее средство индивидуальной поэтики. Имеется в виду не только использование антонимов языковых, общеупотребительных и контекстуальных, но противопоставление, противоположение идей, “теорий”, характеров (рассказчик и Иван Иванович), манеры актёрской игры (Ристори – Рашель, Мочалов – Дессуар) и т.д.

Уже в самом начале очерка Григорьев сталкивает единичный русифицированный топоним с целым ожерельем варваризмов (как это ни странно слышать в отношении итальянских слов): “В мирном и славном городе Флоренске, как зовёт его Лихачёв, посол царя Алексея Михайловича к Дуку Фердинандусу, я жил в одной из самых тёмных его улиц... или нет, не улиц. Улица – это via, via, например, Ghibellina, Кальцайола, а я жил в Борго, в Borgo Sant-Apostoli, то есть в улице, состоящей из нескольких улиц, прерываемых множеством узеньких, маленьких, грязненьких кьяссо, которые были отдушинами Борго на Лунгарно...”. Антонимы, ряд которых продолжен на итальянском, усиливают впечатление, подчёркнутое их экзотичной иноязычной формой.

Произведение делится на композиционно-тематические части. Вступление читается как одна огромная внешняя ремарка, где видна рука автора, знающего и выстраивающего пространство сцены: архитектурные формы, игра света и тени. “Сошед с Лунгарно, углубишься немного в эти узкие улицы, с их м р а ч н ы м и и с ы р ы м и к а м е н -

ными комодами и сундуками, носящими название домов, – и опять дрожь до нового пространства, до нового просвета...” (здесь и далее разрядка наша. – С.М.). Экспрессивная ёмкость метафоры “мрачные и сырые каменные комоды и сундуки” перекликается с экспрессивно-оценочным комментарием, который относится уже к интервьюеру обиталища рассказчика: “...она (комната. – С.М.), с её холодным мрамором каминов, окон и столов – в Италии нипочём ведь мрамор: вы его часто встретите там, где уж никак не ожидаете...”

В ряде мест “внешняя ремарка” начинает походить на режиссёрскую партитуру спектакля, где расписаны мизансцены, определяющие действия массовки. Параллельно накладывается “звуковая партитура”, сдержанная лексика пластики сопрягается с буйством лексики звука, которая с появлением главного героя станет ещё разнообразнее.

Каковы же фигуры грандиозной массовки? “...Б о л е з н е н н ы й, пожалуй, в ы у ч е н н ы й, но лучше сказать, в ы м у ч е н н ы й т о н с т о н а синьоры в отребиях, преследующей вас своим *sono fame, signor, sono fame* от Понте Веккио до Понте делла Тринита и гораздо далее, нагло, но как-то жалко-нагло цепляющейся вам за рукав, поспевающей за вами, как бы вы не ускоряли ваши шаги”. И если сначала смущает избыточное словосочетание “тон стона”, то прочитав его два-три раза вслух, понимаешь: фонетически оно имитирует неведомое тягучее итальянское слово “тонстона” и гармонирует с другими итальянскими вкраплениями.

“Pst, pst, – этот п р и з ы в н ы й клич слышится вам из окон почти во всякое время дня и ночи...”. Окно как рама ограничивает ту или иную мизансцену. “Бессмысленно прислонился я к окну и (...) стал глядеть (...): явления были все известные: *santo padre* (...), немного покачиваясь справа налево, тянул с сильным горловым акцентом однообразную *литанию* (...) разносчик безжалостно-звонко, всей ужасной полнотою итальянского грудного крика орал (...) П р о р е в е л, наконец, трижды и ослик...; прошли, громко рассуждая и размахивая руками, трое тосканских солдат, да какая-то растрёпанная синьора г у с т ы м и к о н т р а л ь т о в ы м и н о т а м и обругала – или, как говорится у нас в Москве, о б л о ж и л а к у п л е т а м и – (...) мальчишку...”

Венчает всё разнообразие звуковых характеристик “с т р е к о т а н ь е итальянских к у з н е ч и к о в”, которые всегда казались автору “задатками итальянских т е н о р о в, – ибо, право, у каждого итальянского кузнечика б ы ч а ч ь я г р у д ь н е в ы п е в ш е г о с я, н о с и л ь н е й ш е г о т е н о р а Ремиджио Бертолини...”

Наконец, рассказчик приводит читателя на пьяццону, где музыканты “и г р а л и из Верди что-то н е у м о л и м о - ш у м о е”, и где среди экипажей и пёстрой толпы, по законам драмы, происходит

завязка действия: рассказчик встречается с Иваном Ивановичем (постоянный персонаж Ап. Григорьева, его второе “я”), который тут, на пьядцоне, “д о б и в а е т” полтора часа, оставшиеся до спектакля. Отметим этот экспрессивный глагол в лексиконе Ивана Ивановича.

Этой встречей начинается вторая композиционно-тематическая часть, в которой рассказчик и Иван Иванович ведут энергичный диалог. Живость диалогической речи позволяет критику сделать дискуссию по вопросам театральной эстетики интересной для читателя. И поскольку слово *теория* для Григорьева ненавистно, то свои идеи он не излагает, а “впрыскивает” с помощью афористически кратких реплик, из которых и реконструируется его собственная “теория”.

“– Он не поэт, а сочинитель: он делает роль...”

“– А что такое трагическая душа, Иван Иванович? – Бог её знает, что она такое, – отвечал он. – Может быть, именно то, что вы называете *веянием...*” (курсив наш. – С.М.). (Здесь мы встречаем термин, который станет ключевым у Конст. Леонтьева – вспомним подзаголовок к критическому этюду о творчестве Л.Н. Толстого “Анализ, стиль и веяние”.)

Среди толков о русском Гамлете Мочалова, немецком Ричарде Дессуара, о Ляпунове и Подколесине является парадокс с ключевым оксюморном: “Истинный трагик такая же редкость как б е л ы й н е г р”, который есть и главный вывод статьи: Сальвини-Отелло – это и белый мавр и истинный трагик. Заметим попутно, что оксюморон можно рассматривать как антитезу в её предельно сжатом виде.

Диалог-дискуссия начинает клониться к театроведческой статье, и для “Отелло” с Томазо Сальвини Григорьев готовит особые декорации. “Сценой” на этот раз служит площадь del gran Duca, “потому что изящнее, величавей этой площади не найдётся нигде – изойдите, как говорится, всю вселенную...”. В её описании критик ставит в антонимическую позицию словосочетания: “необычайная лёгкость” и “жестокая суровость”, что относится к Palazzo vecchio, а Лоджиа – “сурово-изящное творение Орканьи”. “...Во всём (...) поразительное единство тона – почтенный, многовековой, серьёзный колорит разлит по всей пьядцоне...”. “Целость, единство этого замкнутого мира” – такова площадь-сцена, величественные подмостки для “белого негра”, декорации в духе Пьетро Гонзаго.

Но Григорьев не был бы Григорьевым, если бы на пороге театра не сменил пафос. Он сближает, сталкивает слова непринуждённо-бытового общения с цитатой из Дантова “Ада” (песнь III, строфа 9).

“Огромный *хвост* был уже у театра Кокомеро, когда мы подошли к нему. Стало быть – надобно было *lasciar ogni speranza* (“Оставить всякую надежду”), заплатить только интрату и найти хорошее местечко в партере”. *Интрата* (местное вкрапление другого рода) – итальянское слово, приспособленное к системе звукогилов русского языка и поданное в русской графике, а рядом чеканный итальянский язык Данте.

Уже перед самым началом спектакля рассказчик читает афишу (род нашей программки), где искажена не только фамилия великого англичанина, но обозначено, что “трагедия переведена и переделана для сцены Каркано” (в тексте это приведено на итальянском языке). Романтический возглас завершает чтение афиши, неумеренный восторг которого снимается дробным ритмом двух звонких итальянских глаголов, данных в системе звукотипов итальянского языка и в итальянской графике: “Отелло! Шекспировский Отелло! Отелло, как бы он ни был tradotto и ridotto!” (переведён и переделан. – С.М.).

Пожалуй, этим броским утверждением Григорьев акцентирует употребление приёма, известного в Италии ещё с XV века как макаронический стиль, смешение слов двух или нескольких языков. Критик, как мы видим, использовал этот приём и к месту, и с виртуозным разнообразием.

Основная часть очерка – подробное описание спектакля. Описание как тип литературно-художественной речи многогранно. Тем более отображение спектакля, реальности второго порядка. Тут важна и предельная объективность, и субъективный взгляд критика.

Разбирается, анализируется, главным образом, роль Отелло. Однако выразительны и характеристики исполнителей других ролей с мгновенными переходами от речи общелитературной к устно-разговорной. “Актёр, игравший Яго, (...) человек умный. Ни злодейской в ы с т у п к и, ни насупленных бровей (...) просто человек лет тридцати, п р о д у в н а я итальянская б е с т и я...”. Заключительная сцена I акта: “Яго вёл её очень умно, мастерски скрыл даже резкости шекспировской формы – (...) играл отлично в итальянски-трактирном тоне (...), ловко и с *подходящем* издевался над Родриго...”.

Заключительная часть повествования, которая собственно и есть текст очерка, вся пронизана мыслью, что “Отелло возвращался на почву, с которой был взят, на ту грубую, может быть, почву, но, во всяком случае, коренную его почву, на которой вырастил его Giraidi Cintio в своей новелле...”. То же о декорациях сцены в сенате: “были тут только итальянское художественное чутьё да итальянская почва”.

Очерк был написан в 1858 году и опубликован в № 1 “Русского слова” за 1859 год. Таким образом, “почва” уже была для Ап. Григорьева важным и устойчивым понятием, и с переходом в начале 60-х годов в журналы братьев Достоевских он вместе с Фёдором Михайловичем и Н.Н. Страховым вырабатывает принципы “почвенничества”.

Описывая появление на сцене Отелло-Сальвини, автор сознательно воспользовался штампом: “Гром рукоплесканий приветствовал трагика...”. Сдержанно прокомментировав банальную фразу, он переносит смысловой центр следующего предложения на маловыразительное указательное местоимение “такие”: “...есть т а к и е наружности и т а к и е *входы*, при которых рукоплескания совершенно понятны”.

В следующем абзаце критик ещё раз объясняется: “Так уже надоели мне разные Отелло, появляющиеся с громом и треском, что на меня довольно сильно подействовала простота Сальвини...”.

Указав на знаменитое объяснение Отелло в сенате, на эту “задушевную исповедь, представляющую собою один из венцов шекспировского драматического лиризма”, Григорьев отмечает “все удивительные, то мелодические, то металлические звуки его голоса...”. Но главное, “Сальвини тут не ярился, как яряты другие Отелло...”

Уже говорилось об энергии григорьевских глаголов. В “Великом трагике” таких примеров ещё несколько. В антракте, когда публика может пошуметь и развлечься, рассказчик и Иван Иванович “молча вышли {...} и молча же пошли в театральную кофейню...”. Подобная реакция в театре – награда драматургу и исполнителю. Среди молчания, как редкостная характеристика впечатления, произведённого спектаклем, используются не оценочные слова, не имена существительные и прилагательные с одобрительной экспрессией, а глаголы в сочетании с существительными, с которыми они, не соотносясь по смыслу, приобретают особый напор и динамизм и выражают высшее одобрение.

“Сохраняя то же молчание, Иван Иванович подошёл к буфету, *вонзил* в себя {...} рюмку коньяку, – *застегнул* оную апельсином, выбросил *павел* (то есть паоло) и оборотился ко мне” (паоло – мелкая итальянская монета. – С.М.). В конце антракта он останавливает собеседника: “Но постойте... я пройду ещё по *коньячилле*”. Здесь иной разряд итальянских вкраплений, когда наоборот – русское слово, хотя и иностранного происхождения, приспособляется к системе звукотипов итальянского языка.

Описывая и анализируя второй акт, автор использует приём острашения. Он обнажает грубую условность провинциального театра: “В задний план сцены уже колотили что есть мочи чурбанами, что обозначало пальбу из пушек, {...} – значит, прибыли корабли в Кипр”. Грубая условность была побеждена Сальвини: “...так просто-величаво умеет входить только он...”. И эта простота и “целость всего” – вот что сделало историю Отелло похожей “на жизнь, а не на театральное *позорище*...” (курсив наш. – С.М.).

Впечатление от описания спектакля усиливается ещё и тем, что постоянно сталкиваются различные пласты речи: разговорный – “явился *сам*”, “старый венецианский генерал *задал страху* своим подчинённым”, и, например, церковно-славянский – “это появление *самого* действительно могло заставить *прильпнуть язык к гортани*” (“Прильпни язык мой к гортани моей...” – Пс. 136; 6). Действительно, от антракта к антракту диалоги рассказчика и Ивана Ивановича становятся всё

короче, и, наконец, молчание целиком заполняет паузу между действиями.

Анализируя все тонкости психологических задач, которые могут быть не замечены зрителем, критик подчёркивает их то с помощью лексики звука, то с помощью слова, возвышенного своим фонетическим обликом, то с помощью излюбленной антитезы. «Ему предстояла тут огромная задача: провести в разговоре с просящей за Кассио Дездемоной тревожную ноту странного чувства, заброшенного в его душу замечанием Яго: “Это мне не нравится”. Обыкновенным нашим трагикам это очень легко – они *ялятся* с самого начала, ибо понимают в Отелло одну только дику его сторону. Но Сальвини показал в Отелло человека, в котором дух уже восторжествовал над **кровью**, которого любовь Дездемоны замирила со всеми терпеливыми им бедствиями (...) И потом, в начале страшного разговора с Яго, он всё ходил, сосредоточенный, не возвышая тона голоса, и это было ужасно...». И далее: «Когда вошла опять Дездемона, всё ещё дух мучительно торжествовал над **кровью** (...) даже в полуразбитой вере ещё будет слышаться глубокая, страстная нежность... Она-то, эта нежность (...) прорвалась в тихом сказанном “Andiamo!” (Пойдём!) – и от этого тихого слова застонала и заревела масса партера...»

В своём утверждении, что “гениальные натуры создают роль целью”, критик, не давая отдыха читателям, как не давал его Сальвини своим зрителям, продолжает: «Когда он явился со словами: “Ahi! Donna infida!” (“О! изменница!”), это был уже другой человек»; “...Как от стонов разбитого сердца и мрачной сосредоточенности перешёл он к тому воплю и прыжку разъярённого тигра, с которым душит он Яго, как всё усиливались эти ярые вопли, этот звериный рёв, – этого словами передать нельзя”.

В сцене с Дездемоной, в ласкании её руки виделся “наполовину человек, глубоко разбитый, наполовину тигр, притаивающий тщетно свою ярость и раздражающийся наконец всем неистовством в вопросах о платке...” (курсив наш. – С.М.). В этом предложении корреляты антонимичной пары предваряются одним и тем же наречием *наполовину*, что подчёркивает их смысловую наполненность в контексте всего очерка.

В IV акте напряжение возрастает: “Все человеческое уже исчезло в Отелло: походка тигра или барса, судорожные движения, (...) сухие и разбитые тоны в голосе...”; “Но и тут была соблюдена удивительная психологическая последовательность: (...) на физиономии его (...) обозначились следы таких мук, которые поистине могут назваться *нездешними*”, но оказалось, “что есть муки ещё злее, ещё ядовитее...”. Пос-

тавь автор в этом отрывке вместо *нездешних* – *адские муки*, ему всё равно не удалось бы перекрыть точно найденного им определения. Дослушав цинический рассказ Яго, “Сальвини не повалился тут на пол в судорогах, как делают это другие трагики, (...) – он только схватился руками за стол и припал к нему грудью с диким ужасным воплем...”; “Затем – человек обратился в зверя...”. Метаморфоза совершилась.

В последнем акте критик решает мучительный вопрос, как мы сказали бы сегодня, психологии творчества: “прерывалось ли у трагика во время антракта его нервное настроение...” (оценим префикс в слове *на-стройство*). “...Думаю, что нет”, – отвечает критик. – “Прервавши, хотя и на минуту, душевный процесс – пусть этот процесс и воображаемый и представляемый, – нельзя было войти так и м, каким вошёл Сальвини”.

“...Яд уже окончательно совершил свою работу над душою Отелло...”. И далее: “Одну из сторон душевного настроения выразить нетрудно, но выразить их все, выразить то, что Шекспир сам хотел сказать последним поцелуем, который даёт Отелло своей Дездемоне, – для этого надобно быть гением...”. Что в истории мирового театра можно поставить рядом с этим последним целованием?

После крещендо, характерного на протяжении всего очерка для лексики звукоряда, его финал подан стремительно и даже сдержанно. И только итальянское “*così*” врывается как заключительный аккорд. Столько такта в этом косвенном описании, сколько, вероятно, было его в исполнении Сальвини и в замысле Шекспира. «...Всё было – правда (...) до той самой минуты, когда Отелло рассказал о том, “как собака турок осмелился бить христианина, как он (Отелло. – С.М.) – схватил его за горло и зарезал... *Così!*” (Так! – С.М.) – перехватил себе мечом горло и, захрипев смертельным стоном, потянулся, шатаясь, к постели Дездемоны...»

Дискуссии, которые вели рассказчик и Иван Иванович в антрактах, мысли, которые сменили энергичный и вместе величавый диалог, как бы подвигают критика к созданию теорий. «← Иван Иванович, отчего вы (...) не напишете о “трагическом в искусстве и жизни”». Ироническим комментарием он снимает для себя возможность такого теоретизирования: “Вы ведь сами на этом коньке ездили – и можете сообщить много интересных наблюдений”.

Аполлона Григорьева принято именовать русским Гамлетом, но его самохарактеристика содержится в последних строчках именно “Великого трагика”: “наполовину Рудин и наполовину Веретьев” (герой повести И.С. Тургенева “Затишье”. – С.М.). Ещё одна антитеза, имя которой и автор которой Аполлон Александрович Григорьев.



*О состоянии
современного русского языка*

*Ю.Н. КАРАУЛОВ,
член-корреспондент РАН*

Проблемы современного русского языка в конечном итоге сводятся к оценке его состояния, и зеркалом этого состояния является язык средств массовой информации. Само слово “состояние” заряжено негативной оценкой, предполагает какие-то дефекты в предмете. Например: “состояние больного внушает опасения”, “состояние конструкции здания чревато опасностями” и т.п. Но когда мы говорим о состоянии языка, мы разве озабочены разрушением его морфологического строя? Или насстораживают изменения в его фонетике, в его синтаксисе? Нет, структурная его организация вполне благополучна, и те тенденции в его развитии, которые отмечают наблюдатели, являются нормальными, естественными. Такова, например, тенденция к аналитизму, о которой говорят в течение трех десятилетий. (Замечу в скобках, что эта тенденция выражается во все более расширяющейся практике замены падежных словосочетаний предложными: *церемонность обращения – в обращении, курс реформ – на реформы; группа подготовки документов – по подготовке...; случай исчезновения – с исчезновением денег...*) Таковы же активные процессы в словообразовании, например, создание существительных с суффиксом *-изация*: *арендизация, векселизация, люмпенизация, долларизация...*

Все это явления языковой эволюции: язык может существовать, только постоянно изменяясь во времени, иначе он умирает, как умирают языки малых народов. В действительности же, говоря о состоянии

русского языка, мы говорим о состоянии говорящих на нем людей, о тех преобразованиях, которые происходят в речевом поведении (а значит, неизбежно – в языковом сознании) носителей языка.

За последнее десятилетие изменения, происшедшие в русском языке, связаны с развитием новых сфер его применения. Прежде всего, это сфера политики, политического языка, который сформировался на месте стандартизованного, ритуального, огосударственного языка политики, существовавшего с 30-х до 80-х годов прошедшего столетия. Другая менее важная сфера – новый юридический язык, сложившийся под влиянием общемирового “демократического транзита”, захватившего в своем движении и нашу страну. К нынешнему дню язык политики и язык юриспруденции вырос в самостоятельные вторичные языковые системы, которые оказывают мощное влияние на литературный язык, на язык массовых коммуникаций.

Продолжая перечень новых сфер языкового существования, я должен назвать глубоко внедрившиеся в нашу жизнь язык компьютерных технологий и язык рынка, рыночных отношений. Наконец, и это, может быть, самое главное, под влиянием общих процессов демократизации общества “развязался язык” у простого народа, исчезли скованность, зажатость, стандартность, которые были свойственны повседневному речевому поведению человека в советское время.

Ведь что поражало филолога, очутившегося за границей в 60–70-е годы? Это та непосредственность, свобода самовыражения среднего француза или американца, вдруг оказавшегося на улице перед телекамерой. Русский человек в такой ситуации терялся, переходил на сложный язык и ритуализованные формулы, внушенные ему газетой или дикторской речью в эфире. Политик тех времен мог говорить только по бумажке. Теперь же ничего этого нет, что, конечно, отрадно.

Освобожденная разговорная стихия захлестнула сегодня нашу повседневную жизнь и наше публичное общение, что наиболее заметно отразилось на языке средств массовой информации. Вообще разговорная речь всегда была самым эффективным источником обновления языка. Так было во времена Пушкина, когда разговорная стихия стала одним из факторов формирования русского литературного языка. Так было в эпоху Достоевского и демократического движения 60–80-х годов XIX века; так было в 20–30-е годы XX столетия; наконец, те же истоки у складывающегося современного облика литературного языка конца XX – начала XXI века.

Современное языковое развитие проходит под влиянием двух противоборствующих сил. С одной стороны, отчетливо прослеживается активное воздействие на литературную норму разговорной речи, ее продвижение в публичную сферу, в массовое общение. И эта сила поддерживается процессом заимствования иностранных слов, вызванным включением России в общемировую экономическую, политическую,

культурную систему. С другой стороны, существует не менее сильное, хотя, может быть, менее замечаемое нами воздействие на литературный язык норм и языковых стандартов огосударственного языка времен тоталитаризма. Вот примеры этой второй силы. В недавнем президентском указе есть такая формулировка: “Военнослужащие не могут увольняться из армии, не получив всех причитающихся им выплат...”. Здесь форма глагола *увольняться* может иметь два значения:

– пассивное, т.е. “военнослужащего не могут уволить”;

– и возвратное, т.е. “военнослужащий не может подать заявление об увольнении”. Смыслы разные, можно сказать, противоположные: либо начальство не может его уволить, либо он сам не может уйти. Какой из них имеется в виду – непонятно. Это типичная примета советского языка тоталитарных времен, когда пишущий или говорящий стремится спрятаться за туманной формой пассивной конструкции или безличного предложения, в которых агент, субъект, действующее лицо не названы: “Сколько раз, например, говорилось, что огромное количество металла расходуется у нас нерационально?” (из газет 60-х). Кто говорил? Кем расходуется? Из недавних высказываний: “Обсуждение бюджета в Госдуме отложилось”. Или возьмем такой документ нашей эпохи, как Конституция РФ. В ее тексте 17 раз употреблен глагол в пассивной форме *гарантироваться*: гарантируются свобода экономической деятельности, местное самоуправление, свобода совести, свобода массовой информации и т.д. Но нигде не сказано, кем гарантируется, каков механизм соблюдения этих гарантий, и далеко не всегда ясно – кому гарантируется то или иное демократическое благо.

Две эти силы – 1) использование ресурсов разговорной речи, расширяющих выразительные возможности литературного языка, и иноязычных заимствований; 2) закрепившиеся в узусе и бессознательно повторяемые стандарты тоталитарного языкового наследия, “родимые пятна” тоталитаризма в нашем языковом сознании – символизируют две разнонаправленные тенденции – эволюцию и диссолюцию (деградацию) современного языка.

Вместе с освобожденностью литературного языка от скованности тоталитарными канонами увеличился поток искажений правильной и красивой русской речи. Отступления от литературных норм, характеризующие современное состояние русского языка, укладываются в три группы фактов разного порядка – системные, культурно-речевые и этические.

Нарушения фундаментальных системных закономерностей вызываются влиянием “другой системы” (родной язык говорящего не русский, или в его речи сохраняются элементы диалекта: *земля пахать, картошка сажать, к сестры, у вдове, много урожая собрато*). Подобные нарушения не встречаются в речи комментаторов и телеведущих.

Наибольшее число языковых ошибок связано с несоблюдением

культурно-речевых норм, освященных литературной традицией, норм, закрепленных кодифицированными правилами, норм, рекомендуемых авторитетными изданиями словарей и различных справочников (ср. *одеть и надеть, чулок и носков, ложить и положить, приведённый и привёденный* и т.п.).

Наконец, третья группа нарушений литературной нормы касается этических и эстетических аспектов культуры речи, исторически сложившихся и устоявшихся в русской культуре правил публично звучащей речи, запрещающих употребление слов, которые ранее назывались *непечатными* (теперь их так не назовешь) или *нецензурными* (тоже не современно, так как цензура теперь, главным образом, собственная, внутренняя для говорящего). Раньше на использование такого рода слов накладывался абсолютный запрет. Даже научные исследования, посвященные русскому мату (о его происхождении, в частности), снабжались грифом “для служебного пользования”.

Теперь дорога “магизмам” открыта не только в художественной литературе, но также в газете, в кино и на телеэкране. По поводу этого рода лексики надо заметить, что ее публичное использование идет вразрез с русской культурной традицией. Это выражается в том, что не в пример англоязычной или испаноязычной речи, где обценная лексика довольно легко “вставляется в строку” и так же легко воспринимается слушающими, в русском публичном общении площадная брань отрицательным образом характеризует говорящего, одновременно унижает слушающего, навязывая ему низменные речевые стереотипы.

Языковые ошибки и нарушения норм культуры речи совершаются бессознательно, представляя искажения правильности, которые обусловлены не только незнанием, но и законами спонтанного речепорождения. Этическая же составляющая речевой культуры нарушается осознанно, целенаправленно, и эти нарушения возникают тогда, когда экспрессивная сторона высказывания преобладает над смысловой. Экспрессия, если она достигается за счет употребления жаргонных или бранных выражений в ущерб смыслу и красоте речи, не увеличивает эффективность общения (я имею в виду публичное общение), а скорее делает его менее успешным.

Спонтанное речепорождение подчиняется законам родной природы – языковой, психологической и социальной. Чисто языковой закономерностью является аналогия, которая требует от говорящего, например, выравнивания ударения в словоформах одного и того же слова (*начать – начали – началá, начался*); или обуславливает распространение конструкции “о том, что” с глаголов речемысли (*рассказал о том, что; рассуждали о том, что; думал о том, что*) на все глаголы передачи информации (*объяснили о том, что; увидели о том, что; убедились о том, что*).

Действие другого закона психолингвистического характера – закона

экономии усилий, являющегося одним из главных факторов развития языка, тоже может приводить к отрицательным последствиям, порождать ошибки. Этот закон помогает объяснить, например, выбор говорящим тех форм выражения, которые требуют от него затраты меньших усилий. Так, *кв́артал* русскому произнести легче, чем *квартáл*, хотя нормативной является как раз вторая форма. Широкое распространение неправильно построенного деепричастного оборота (типа: “проводя эти исследования, нам стало ясно...”) тоже вызвано законом экономии, поскольку такой оборот легче артикулировать, чем выстроить более длинное придаточное предложение. Действием того же закона можно объяснить и излишне смелые словообразовательные новации (*протестанты* < *протестующие демонстранты*), и неоправданное подчас употребление иноязычных слов и выражений, транслитерировать которые для знающих иностранный язык проще, чем подобрать правильный и точный русский эквивалент.

Объем иноязычных заимствований в наше переходное время существенно вырос, и стремление поставить искусственные заслоны этому естественному процессу ни к чему не приведет. В условиях глобализации современного мира заимствования неизбежны и необходимы. Они не представляют опасности для национальной самобытности такого богатого языка, как русский, но разумную меру соблюдать здесь тоже полезно.

Три комментированных мною закона навязываются нам – говорящим – самим языком и механизмами речепорождения, и последствия этих законов должны стать объектом терпеливой и систематической просветительской работы филологов и журналистов.

Иногда приходится слышать такие возражения по поводу их культурно-речевой деятельности: язык, дескать, это самоорганизующаяся система, а такая система в конце концов сама справится с возмущениями, связанными с нарушениями норм, сама наведет порядок, естественным образом изжив, отбросив все наносное, лишнее, не соответствующее законам ее организации. Те, кто приводят такой аргумент, забывают, что язык, речь – это не только абстрактная система, которая владеет человеком, но это и сам человек, это личность, которая владеет языком. А личность и есть тот пункт, та сторона, которая поддается воздействию, просветительскому воздействию носителей языковой культуры. В условиях доброй воли, конечно. Проведем мысленный эксперимент. Представим себе, что сегодняшний номер “Московского комсомольца” читает – ну, пусть не Пушкин, ему-то понять современные газетные тексты было бы трудно (хотя эксперимент “Пушкин читает Маканина”, когда со “Словарем языка Пушкина” была прочитана повесть “Человек свиты”, показал, что “непонимание” возникает у такого читателя из прошлого в незначительном числе случаев. См. Караулов Ю.Н. “Словарь Пушкина и эволюция русской языковой спо-

собности". 1992), но, скажем, М. Горький. Какое бы у него возникло представление о современном русском человеке – “читателе” и “писателе” – и современном русском языке? Сложно предположить, но шокирован, я думаю, он был бы определенно.

Причем шок был бы вызван, видимо, не в первую очередь возможными культурно-речевыми промахами пишущих или говорящих с экрана телевизора, хотя эти ошибки и могут подрывать доверие к тому, о чем говорится. Поразительным для восприятия человеком другой эпохи покажется даже не содержательная сторона, не обсуждаемые темы и проблемы, а прежде всего общий дух и тон текстов в СМИ. Тон – в основном, независимо от обсуждаемой проблемы, – иронический, скептический, насмешливый, а подчас издевательский. Этот фельетонный дух в соединении с использованием раскованных, не отмеченных этической озабоченностью языковых средств, перешедших из нашей повседневной жизни, из устного бытования на страницы газет и в эфир, очевидно, призван, по замыслу авторов, интимизировать общение с читателем, слушателем. Но интимизация возможна, если партнеры равноправны, а такого равноправия нет, поскольку СМИ основной массой людей воспринимается как учитель (“старший”, “родитель”), как языковой авторитет и образец для подражания. В итоге мы имеем дело с общим снижением культурно-речевого уровня использования языка в СМИ, которое естественным образом отражается на повседневной языковой жизни общества, на “состоянии” русского языка.

Единственным противоядием такой тенденции может быть сознательная работа по повышению культуры речи. Культура речи – это та точка, где встречаются наука и жизнь: наука о языке встречается с повседневным языковым существованием русского человека. Я за то, чтобы эта встреча под знаком языковой критики была дружелюбной и плодотворной. Нужно только помнить, что правильное пользование языком требует усилия и отваги.



РОССИЯ В МЕТАФОРИЧЕСКОМ ЗЕРКАЛЕ*

*А.П. ЧУДИНОВ,
доктор филологических наук*

II.

У каждого времени – своя система метафор. Каждый новый этап социального развития страны отражается в метафорическом зеркале, где вне зависимости от чьих-либо намерений фиксируется подлинная картина общественного самосознания. Система базисных метафор – это своего рода ключ к пониманию “духа времени”.

В предшествующей статье мы рассматривали характерное для современной агитационно-политической речи метафорическое представление российской действительности как преступного мира, где нет места гуманистическим отношениям и невозможно жить честно, где политической власти и экономического процветания добиваются только жулики и бандиты, живущие за счет “лохов”.

Широкое распространение в агитационно-политической речи конца XX века получила и метафорическая модель “Современная Россия – это больной организм”. В соответствии с этой моделью образно используется лексика, обозначающая раны и болезни общества, которое нужно срочно лечить сильнодействующими лекарствами, поскольку отдельные органы организма уже омертвели, и потеря времени грозит самыми печальными последствиями (полная инвалидность, смерть, эпидемия).

Разумеется, рассматриваемая метафорическая модель уже давно существует в русском языке, но в последние годы очень заметна ее активизация. Причины активизации метафорических моделей в том или ином обществе хорошо охарактеризовал немецкий лингвист Ст. Ульманн (Семантические универсалии // Новое в лингвистике. Вып. 5. М., 1970), который отметил, что источниками метафорической экспансии и метафорического притяжения всегда служат семантические сферы, вызывающие особое внимание в народном сознании. Едва ли есть смысл специально говорить о том, почему как проблемы здоровья, так и проблемы политики вызывают повышенный интерес у жителей сов-

* Начало см.: Русская речь. 2001. № 1.

ременной России. Как гласит русская пословица, у кого что болит, тот о том и говорит.

Материалом для настоящего исследования послужило метафорическое словоупотребление, отраженное в современных средствах массовой информации (газеты, радио- и телепередачи). Все рассматриваемые примеры объединяются общим признаком: слова, которые в первичном значении используются в понятийном поле “Болезнь” (в том числе обозначающие симптомы болезни, лекарства, пути лечения, выздоровление и т.п.), в данных текстах метафорически обозначают социальную действительность современной России: «При “переливании крови” в главных сосудах новой власти Анатолий Борисович имел возможность добавить кое-кому адреналина. Только нужен был для стерильности операции одноразовый инструмент. Не готовил ли господин Чубайс во время обсуждения с Лебедем ситуации в Чечне именно такой хирургический скальпель из закаленного генерала» (А. Бархатов); «Если в обществе нет интереса к политике, то это здоровое и благополучное общество. Интерес к политике подогревают социальные болезни» (В. Кучерюк); «Правительство предприняло ряд шагов по оздоровлению обстановки в стране, сумело вывести экономику из тяжелого положения» (Е. Примаков); «Тяжелая болезнь постигла Россию в обличье коммунизма. Может быть, она была попущена нам, чтобы избавиться от какой-либо более страшной грозившей нам чумы» (патриарх Алексей II).

Метафоры, образованные по рассматриваемой модели, носят преимущественно эмотивный характер, то есть они создаются прежде всего для того, чтобы перенести имеющееся у читателя эмоциональное отношение к понятию-источнику (его обозначает слово в основном значении), к понятию, которое обозначается метафорическим значением слова. Например, вполне традиционное для русского национального сознания сочувствие к больному закономерно переносится и на Россию, которая сопоставляется патриархом Алексием с излечивающимся от тяжелой болезни человеком. Соответственно, естественное отношение всякого человека к очень опасной инфекционной болезни благодаря использованию метафоры как бы переносится и на отношение к коммунистической теории и практике.

Следует отметить, что все рассматриваемые тексты имеют агитационно-политический характер, а в подобного рода материалах традиционно подчеркиваются все реально существующие даже мнимые недостатки. Идущие “во власть” политики (и поддерживающие их “команды”) стремятся показать, до чего довели страну их политические противники: соответствующую “партию власти” демонстрирует, как много ей удалось сделать в чрезвычайных условиях. И те, и другие стремятся представить себя опытыми медиками, способными не только поставить диагноз, но и вылечить страну от тяжелых недугов. Поэтому

можно надеяться, что тот негативный образ родной страны, который принято создавать в пылу российских агитационно-политических кампаний, все-таки не в полной мере отражает реальные представления авторов о современной России.

При детальном рассмотрении метафорической модели “Россия – это больной организм” регулярно выделяются следующие фреймы.

1. Фрейм “Наименования болезней”.

В современном агитационно-политическом дискурсе нашей стране (ее политической системе, органам государственной власти, экономике, культуре, промышленности и сельскому хозяйству) постоянно метафорически приписываются разнообразные болезни: особенно часто Россия страдает от таких инфекционных заболеваний, как *чума, лихорадка, столбняк, проказа, грипп, воспаление легких, гепатит*. Распространенность некоторых болезней грозит эпидемией: “Закончилась лихорадка с выплатой зарплаты – деньги сейчас выдаются регулярно” (Л. Антонова); “При желании противостоять бациллам экстремизма можно, но чумная эпидемия национализма продолжается” (А. Колесников); “Если мы не нейтрализуем как очаги, так и вирусоносителей коммунистического столбняка – не сносить нам голов как в переносном, так и в прямом смысле” (В. Ганюшкин).

Показательно, что широко распространено метафорическое использование названий не только физических, но и психических болезней (*шизофрения, паранойя, слабоумие, дебильность*, а также традиционный *алкоголизм* и быстро распространяющаяся *наркомания*), от которых страдают страна в целом, ее ведущие органы и регионы, а также ее политические лидеры, ведущие финансисты и производственники: “Это – крайняя степень политического слабоумия, крайняя степень безответственности” (В. Белов); “В условиях тотальной импотенции Рушайло один из тех, кто способен на резкие действия” (А. Хинштейн).

Прагматические смыслы, формируемые метафорами этой группы, можно сформулировать следующим образом: страна близка к гибели, ее ждут всевозможные беды, а российская элита состоит из физических и душевно больных людей, от которых нельзя ожидать разумных действий. Вместе с тем уже само упоминание тяжелых болезней, от которых страдает российское общество, призвано вызвать сочувствие к родной стране, желание помочь ей.

2. Фрейм “Причины и возбудители болезней”.

При характеристике причин охвативших Россию болезней чаще всего метафорически используются слова *бациллы, вирусы и микробы* (авторы обычно уточняют характер этих микроорганизмов), а также *аллергены*; источником болезненного состояния и даже скорой смерти может быть также *голод (топливный, валютный и т.п.), информационное облучение, удушение (налогами, санкциями), нарушение крово-*

обращения (финансового), яд враждебной пропаганды, наркотическая зависимость от долларовых инъекций и другие причины: “Великие победы заражают национальные организмы бактериями разложения” (А. Соколов); “Самарские энергетики посадили на голодный паек крупнейшего в России производителя алюминиевого проката. Ответственной металлургии перекрывают кислород” (А. Бондаренко); «Вообще республикам в комментариях прессы “комплиментов” достается больше, чем областям, а слово “суверенитет” действует как мощный аллерген» (К. Толмачев); “В Восточной Европе не было длительного идеологического облучения, как у нас” (А. Ципко).

Подобное словоупотребление позволяет образно обозначить причины бедственного положения страны, вызывает наглядное представление об истоках недостатков и обостряет негативное отношение к их виновникам. Например, метафорическое наименование “идеологическое облучение” вызывает более сильную эмоциональную реакцию, чем традиционные “идеологическое воздействие”, “идеологическая работа”, “идеологическое воспитание” и т.п.

3. Фрейм “Симптомы болезни”.

При описании признаков болезни чаще всего метафорически используются слова *бред, конвульсии, судороги, метастазы, температура, язва, гнойник, фурункул, паралич, катаракта, атрофия*: “На сегодняшний день – это самые страшные язвы на теле российского общества, и излечить их необходимо как можно скорее” (А. Хабаров); “Сильные лекарства обычно часто дают побочные эффекты. Это относится не только к медицине, но и к экономике” (Н. Шипицына); «Вспоминаю “историческую” передачу, когда три особо доверенных полпреда второй древнейшей профессии делали умные лица, слушая бред нашего первого президента о его гениальном плане завершения чеченской войны» (А. Ильин); “Предприятия задыхаются от долгов, многие уже бьются в предсмертных конвульсиях, но это мало кого интересует в правительстве” (И. Белкова).

Нередко отмечают также близорукость власти, ее неспособность прислушиваться к голосу народа, безголовость или хромота, а также приступы удушья у экономической системы.

Типовые прагматические смыслы подобных метафор определяются тем, что первичные значения используемых слов хорошо известны читателям, соответствующие реалии вызывают эмоциональное отторжение, а значит, образ большой страны становится особенно действенным: так, обозначение недостатков как “гнойников” или “язв”, оценка содержания речи как “брёда”, а экономических трудностей как “приступов удушья” или “предсмертных конвульсий” делает картину очень наглядной и активизирует эмоциональное восприятие читателями соответствующих реалий.

4. Фрейм “Способы лечения, медицинские инструменты и лекарства”.

При диагностике и лечении болезней общества политические лекари (хирурги, терапевты и др.) используют *градусники, горькие пилюли, таблетки, клизмы, скальпели*; применяются *гипноз и инъекции*, иногда оказываются необходимыми *интенсивная* или даже *шоковая терапия, переливание донорской крови, хирургическое вмешательство* с использованием *наркоза* и даже *реанимация*: “Быстрый эффект возможен только в реанимации. Но шоковую терапию мы уже проходили” (Н. Шипицына); «Этот законопроект является попыткой подсластить “горькую пилюлю”, своеобразной платой главам субъектов за лояльность» (С. Шахрай); “Если бы мы ослабили налоговую удавку, вся Россия задыхалась бы, началось бы оздоровление экономики” (Э. Россель); “Финансы – это градусник. Они показывают температуру больного. Если мы собираемся бороться с болезнью, то зачем бороться с градусником и температурой? Надо лечить болезнь” (Г. Попов).

Формируемые рассматриваемым фреймом типовые прагматические смыслы призваны вызвать у читателей эмоциональное представление о необходимости решительной борьбы с болезнями общества, о разнообразии потенциальных лекарств и путей излечения.

5. Фрейм “Состояние пациента”.

Состояние “больного” (России в целом, ее политических институтов, экономики, отдельных регионов, предприятий и т.п.) метафорически описывается в рассматриваемых текстах как *близкое к смерти*, как *чрезвычайно болезненное, требующее немедленной реанимации*: “Чтобы полумертвые статьи кодексов заработали, нужна политическая воля” (А. Колесников); “Выборы не принесли обещанного возрождения: агония народного хозяйства области продолжается” (А. Спицын); “Действия оккупационного правительства привели народное хозяйство на грань клинической смерти. Необходимо срочное оздоровление экономики” (Н. Туев).

Во многих контекстах при развертывании метафоры оказывается, что лечение не помогает, и больной отходит в иной мир; в других случаях рисуется картина возможного выздоровления больного общества: “Распустит правительство – значит породит кризис управления и окончательно укокошит паралитика, то есть нашу экономику” (А. Баранов); «Программа “Намедни” давно почил в телеэфире» (О. Кабанова); “Заработали металлургические и машиностроительные заводы, началось выздоровление уральской промышленности” (В. Чертков).

По образному выражению Н.Д. Арутюновой, метафора (в отличие от прямого наименования и даже сравнения) – “это приговор суда без разбирательства” (Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. М., 1999. С. 355), приговор, который не нуждается в доказательствах и который невозможно обжаловать. И действительно, если в развернутом сравнении хотя бы представлены основные компоненты сопоставляемых ситуаций (что сравнивается, с чем сравнивается, по какому признаку

сравнивается) и есть сравнительный союз (или другой элемент), показывающий, что это не полное отождествление, а лишь сопоставление по отдельным признакам, то в метафоре объекту просто приписываются свойства другого объекта. Кстати, очень ярким подтверждением буквальной невозможности обжаловать метафорический приговор послужили некоторые судебные процессы последних лет. Суды обычно легко признают клеветой прямое обвинение в совершении уголовных преступлений, но, по свидетельству опытных адвокатов, очень трудно добиться признания клеветой, например, метафорические обозначения истцов как параноиков или шизофреников (ответчики обычно сообщают, что это просто метафорическая оценка, а не медицинский диагноз) или доказать несоответствие истине сообщений о тяжелой болезни или умирании банка, предприятия или региона.

Интересно сопоставить особенности метафорического представления родной страны в текстах, относящихся к двум послереволюционным периодам в истории нашей Родины: к двадцатым и девяностым годам XX века. Политические ситуации в указанные периоды во многом похожи: страна переживает переход от одной социально-экономической системы к другой, невозможно скрыть тяжелое материальное положение большинства простых граждан, которое новая власть объясняет преступлениями старой. Общество живет надеждами на светлое будущее: в первом случае – социалистическое, а во втором – капиталистическое, но значительная часть граждан успела потерять всякие надежды. Правящие структуры говорят о дальнейшем развитии демократии, но многие специалисты опасаются усиления авторитарных тенденций.

В агитационно-политических текстах двадцатых годов Советский Союз постоянно представлялся как не имеющее ничего общего с прежней Российской империей молодое государство, как “страна-подросток”, переживающая вполне естественные временные трудности роста, постоянно подчеркивались пионерский возраст страны и комсомольский задор строителей нового мира. Существовавшие в стране проблемы чаще всего метафорически обозначались как пережитки прошлого (наследственный фактор) и нанесенные врагами раны (то есть результат внешнего воздействия на организм), которые скоро будут залечены, поскольку созданы все условия для развития.

Совсем иные представления создают метафорические наименования России в конце века. Вместо образа страны-ребенка возникает образ когда-то крепкого и могущественного, но очень больного человека, которому нужно интенсивное лечение с применением сильнодействующих лекарств (шоковая терапия, долларовые инъекции), а возможно, даже предстоит ампутация зараженных гангреной органов (в частности, Чечни). Однако надежды не потеряны, больной уверен в своей генетической предрасположенности к долгой и плодотворной жизни, ждет выздоровления и мечтает о новых успехах.

Интересно отметить, что метафорическое представление современной России как больного организма характерно как для текстов, создаваемых сторонниками существующих властных структур, так и для текстов, в которых отражается мнение оппозиционных сил. Подобная близость в метафорическом осознании действительности между “властью” и “оппозицией” наблюдалась и в двадцатые годы, если, конечно, учитывать только внутрироссийский политический дискурс, только имевшую хотя бы минимальные возможности для выражения своего мнения (преимущественно “троцкистскую”) оппозицию и абстрагироваться от агитационно-политического дискурса “русского Зарубежья”, который в те времена был стараниями властей практически изолирован от собственно России.

Царившие в первые годы советской власти иллюзии давно рассеялись, и старые метафоры, предрекавшие стране вечную молодость и все возрастающие жизненные силы, вышли из моды. Как мудро заметил один немецкий политик, Россия никогда не бывает такой сильной, как это кажется со стороны, но она никогда не бывает и такой слабой, как это может кому-то показаться. Поэтому можно надеяться, что потеряет актуальность и метафорическое представление России как тягелобольного общества, а российский политический дискурс нового века будет способствовать актуализации совсем других метафорических моделей, и лингвисты нового поколения отметят как свойство современного им русского самосознания такие модели, как “Россия – это крепкий здоровый организм”, “Россия – заботливая мать своих граждан”, “Россия – это большая дружная процветающая семья”.

Екатеринбург

Военный или воинский?

В.И. КРАСНЫХ,

кандидат филологических наук

На протяжении двух последних столетий складываются весьма непростые, а в ряде случаев и противоречивые отношения между паронимами *военный* и *воинский*. Дело в том, что понятия *война* и *воин* являются, говоря словами поэта, как бы “близнецами-братьями”, тесно связанными со всей героической историей нашей страны, что, естественно, находит отражение как в официальных документах (различных законах, уставах, справочниках и т.п.), имеющих отношение к службе в армии и отражению военной угрозы, так и в бытовой речи, а также в языке художественной литературы, публицистики и электронных средств массовой информации. Столь широкое и постоянное употребление многочисленных словосочетаний с указанными прилагательными в различных сферах нашей жизни не могло не привести к детерминации многих официальных наименований и понятий из этой области человеческой деятельности и образованию параллельных, дублетных номинаций, свойственных разговорной речи. Все это, конечно, соответствующим образом сказывается и на том, как эти слова трактуются в толковых словарях русского языка.

Начнем с анализа прилагательного *военный*. Оно впервые зарегистрировано в Лексиконе российском и французском 1762 г., затем приводится в Российском Целлариусе 1771 г. и в дальнейшем – во всех толковых словарях русского языка. При этом весьма парадоксальным является тот факт, что современные толковые словари выделяют разное количество значений этого слова: от двух значений в Словаре Ушакова (1935 г.), в первом издании БАС (1950 г.), в Словаре Ожегова (23-е изд., 1990 г.), в “Русском толковом словаре” В.В. и Л.Е. Лопатиных (1997 г.) до шести значений во втором издании БАС (1991 г.). В третьем издании МАС (1995 г.) у этого слова отмечается четыре значения, а в “Большом толковом словаре русского языка” под ред. С.А. Кузнецова (в дальнейшем – БТС), вышедшем в 1998 г., – три значения.

Для наглядности приведем наиболее детальную классификацию значений (и их оттенков), содержащуюся в БАС-2.

1. Относящийся к войне, связанный с ней. (*В. угроза, опыт, капитуляция, положение, время*).

|| Связанный с описанием событий войны, содержащий сведения о войне. (*В. литература, проза*).

2. Связанный с боевыми действиями, предназначенный для их ведения. (*В. самолет, корабль, флотилия, операция*).

3. Связанный с армией, со службой в ней. (*В. служба, сбор, администрация, городок, тайна, комиссариат*).

|| Подготавливающий кадры для армии. (*В. училище*).

4. Состоящий на службе в армии. (*В. летчик, человек, люди*).

5. Относящийся к военнослужащему; воинский. (*В. звание, присяга, билет*).

|| Свойственный военнослужащему. (*В. выправка*).

|| Предназначенный для военнослужащего. (*В. форма, шинель*).

6. Перен. О чем-л., связанном с необходимостью применения тех действий, правил и т.п., которые характерны для условий войны (обычно шутивно). (*В. совет, действия, хитрость*).

Если следовать такой логике (при анализе значительно большего количества существительных, сочетающихся с прилагательным *военный*), то при желании можно выделить и еще несколько значений и их оттенков. Так, в частности, значение прилагательного *военный* при его сочетании с существительными *переворот, путч, диктатура, хунта* пришлось бы, вероятно, трактовать следующим образом: “Связанный с антиконституционными действиями военнослужащих по захвату власти”.

Недостатком такой излишне дробной классификации значений (это относится также к МАС и БТС) является, на наш взгляд, искусственное и недостаточно корректное выделение некоторых частных значений (и, конечно, их оттенков), поскольку они полностью перекрываются более общими значениями, также представленными в БАС-2. Так, в частности, второе и шестое значения являются частными случаями первого значения. А четвертое и пятое значения оказываются фактически компонентами третьего значения.

Резюмируя сказанное, можно сделать вывод о том, что на самом деле все указанные значения прилагательного *военный* легко свести к двум, отмеченным еще в БАС-1:

1. Относящийся к войне, связанный с войной. (*В. тактика, заводы, расходы, заказы, операции, хитрость*).

2. Относящийся к службе в армии, принятый в армии. (*Действительная военная служба, дело, команда, шинель, училище, академия*).

Вероятно, при толковании значений прилагательного *военный* целесообразно было бы и ограничиться этими двумя значениями, внося только небольшое уточнение в формулировку второго значения, поскольку в нее не укладывается фактор экономического обслуживания нужд армии (действующий не только во время войны, но и в мирное время). В этом случае формулировка второго значения будет выглядеть следующим образом: “Относящийся к армии и обслуживанию ее нужд; связанный со службой в армии”.

Еще одним недостатком упомянутых толковых словарей (применительно к слову *военный*) является, с нашей точки зрения, весьма ограниченное количество примеров: из словаря в словарь “кочуют” одни и те же словосочетания (обычно от пяти до десяти), иллюстрирующие употребление этого прилагательного.

Понимая всю условность выделения даже этих двух обобщенных значений, приведем довольно полный (хотя и не исчерпывающий) список существительных, сочетающихся со словом *военный*. Он насчитывает более 100 слов. Всего же нами отобрано более 170 существительных, образующих словосочетания с прилагательным *военный*. С этой целью нами были проанализированы некоторые законы (в частности, закон “О воинской обязанности и военной службе”), воинские уставы, военный энциклопедический словарь и др. военные источники. Учитывались также и материалы нашей собственной картотеки. Вот как распределяются существительные из предлагаемого сокращенного списка между двумя значениями интересующего нас прилагательного.

1. Относящийся к войне, связанный с войной: *в. угроза, опасность, противостояние, приготовления, провокация, конфликт, столкновение, авантюра, кампания, действия, операция, разведка, положение, обстановка, истерия, планы, стратегия, тактика, акция, события, потенциал, мощь, доктрина, искусство, мастерство, инициатива, опыт, союз, миссия, договор, блокада, сотрудничество, объект, сводка, победа, поражение, капитуляция, администрация, комендант, преступление, время, детство, тайна, хитрость, тема, мемуары, литература, проза* и т.д.

2. Относящийся к армии и обслуживанию ее нужд; связанный со службой в армии: *в. командование, ведомство, власти, круги, совет, комиссариат* (разг.: военкомат), *билет, округ, реформа, бюджет, расходы, промышленность, производство, нужды, заказ, предприятие, завод, дело, подготовка, наука, образование, теория, специальность, училище, академия, кафедра, учения, игра, сборы, маневры, лагерь, база, аэродром, полигон, казарма, городок, госпиталь, имущество, служба, карьера, присяга, дисциплина, выправка, патруль, сигнал, обмундирование, форма (одежды), гимнастерка, шинель, мундир, техника, самолет, вертолет, корабль, трибунал, суд, прокурор, летчик, связист, моряк, врач, хирург, оркестр, дирижер, музыкант, переводчик, журналист, корреспондент, режим, переворот, пучк, диктатура, пенсия* и мн. др.

Проиллюстрируем сказанное цитатами из художественной литературы и периодики:

“Я твердо понимаю: наша нынешняя экономика не выдержит *военных авантур*” (Из беседы с Е. Ясиным. АиФ. 1999. № 14); “Лучше стол переговоров с острыми углами, чем *военное противостояние*” (Профиль. 1999. № 5); “Исключить *военные конфликты* из практики меж-

государственного общения заманчиво, но недостижимо” (Сегодня. 1994. 15 июня); “А платоновский Петруша был мальчуганом, выросшим в тяготах *военного времени...*” (А. Кривицкий. Елка для взрослого); “Трагические ошибки, очевидно, неизбежны, тем более, когда идет речь о сложной *военной технике...*” (А. Болотин. 10-я площадка); “Лет двадцать назад призыв офицеров на *военные сборы* рассматривался как приключение” (Клиент всегда прав. 2000. № 7); “Он (Зощенко) ходил легко и быстро, с *военной выправкой* – сказывались годы в царской, потом в Красной Армии” (В. Каверин. Петроградский студент); “*Военное дело*, может быть, больше, чем любое другое, требует профессионализма” (А. Кривицкий. Елка для взрослого).

Как видно из приведенного списка речений, многие словосочетания, отнесенные к первому или второму значению прилагательного *военный*, могут быть в равной мере отнесены и к другому значению этого слова. Так, понятия *военный бюджет*, *военные расходы*, *военное предприятие*, *военные заказы* связаны не только с обслуживанием нужд армии в мирное время, но одновременно относятся и к войне. То же самое можно утверждать и в отношении понятий *военная стратегия* и *тактика*, *военные планы*, *военное сотрудничество* и др. Поэтому, если при выделении значений рассматриваемого прилагательного пойти еще дальше, то можно ограничиться вообще только одним максимально обобщенным значением (как это сделано в “Словаре сочетаемости слов русского языка” под ред. П.Н. Денисова и В.В. Морковкина. Изд. 2. М., 1983): “Такой, который относится к войне и армии”. В этом случае не будет возникать никаких сомнений по поводу того, к какому значению отнести то или иное словосочетание.

Перейдем к рассмотрению значений прилагательного *воинский*. Оно впервые зарегистрировано в Российском Целлариусе 1771 г. Почти все толковые словари выделяют (с небольшими вариациями) два значения этого слова: 1. Относящийся к военной службе и военному делу.

2. Свойственный, подобающий воину (воинам).

В этом случае существительные, сочетающиеся с прилагательным *воинский*, распределяются по значениям следующим образом. Первое значение: *в. обязанность, устав, служба, дисциплина, приказ, часть, подразделение, соединение, формирование, звание, должность, учет, контингент, долг, традиции, преступление, эшелон, состав* (жел. дор.), *касса* (жел. дор.), *билет* (жел. дор.), *документы, кладбище, захоронение, надгробие, воспитание, приветствие, вежливость*.

Второе значение: *в. отвага, мужество, доблесть* (высок.), *дух, мастерство, выправка, почести, дружба, братство* (высок.). Например:

“Уже пятеро призывников из района выполняют *воинский долг* в Дагестане и Чечне” (Мир за неделю. 1999. № 12); “К этому следует прибавить еще и оклад по *воинскому званию и должности*” (Клиент все-

гда прав. 2000. 1 марта); “Выполнение плана было равносильно выполнению *воинского приказа*” (Г. Жженов. Саночки); “Вновь промчавшийся *воинский эшелон* отрезал нас от этого зрелища” (Ю. Нагибин. Ранней весной); “Погибшим в бою отдали *воинские почести*” (Радиостанция “Эхо Москвы”. 2000. 15 июля).

При выделении двух значений паронима *воинский* также могут возникнуть некоторые спорные моменты. В частности, можно спорить о том, следует ли относить понятия *воинская дисциплина*, *воинский долг* к первому значению этого слова, а понятия *воинское мастерство*, *воинское мужество* – ко второму или же наоборот. Для того чтобы избежать таких сомнений, упомянутый “Словарь сочетаемости слов русского языка”, как и в случае с паронимом *военный*, объединяет значения прилагательного *воинский* также в одно обобщенное значение: “Такой, который относится к военной службе; свойственный воину (воинам)”.

Следует отметить, что рассматриваемые прилагательные образуют в ряде случаев паронимические словосочетания. Например: *военный билет* (документ, выдаваемый при постановке на воинский учет) и *воинский билет* (железнодорожный), *военное преступление* (связанное с нарушением законов ведения войны) и *воинское преступление* (противоправное действие, совершаемое отдельными военнослужащими), *военное мастерство* (связанное с решением стратегических и оперативных задач) и *воинское мастерство* (характеризующее боевые действия отдельных военнослужащих или низовых воинских подразделений), *воинская дисциплина* (официальный термин, закрепленный в Дисциплинарном уставе) и *военная дисциплина* (понятие более общего характера, употребляемое в разговорной речи).

К сожалению, не удалось выяснить ни в официальных документах, ни в личных беседах с военными, в чем заключается разница между официальными терминами *военная служба* и *воинская служба*. Что же касается параллельного употребления понятий *воинская* и *военная присяга*, то официальным термином является *военная присяга*, а *воинская присяга* – лишь разговорное обозначение того же понятия.

Таковы основные наблюдения и выводы, касающиеся толкования, сочетаемости, разграничения и употребления весьма частотных паронимов *военный* и *воинский*.

ВРЕМЯ СОБЫТИЙ

Т.М. ГОЛОСОВА,
кандидат филологических наук

Традиционно в языке время понимается как грамматическая категория, характеризующая прежде всего систему глагольных форм. Она возникла в результате потребности в соотношении сообщаемого с определенной временной точкой отсчета, для определения времени действия или состояния, о котором говорится в предложении. Такое уточнение соотносится прямо или косвенно с реальным или воображаемым “здесь и теперь”. Оно заключается в указании посредством противопоставленных друг другу временных форм на одновременность, предшествование или следование события/действия по отношению к моменту речи. Так, в предложении *Сергей пишет письмо*, действие, представленное глаголом *пишет*, непосредственно соотносится с моментом речи, а следовательно, передает аспект настоящего времени. В предложении *Сергей писал письмо* глагольная форма *писал* называет действие, происшедшее до момента речи о нем, а следовательно, связывается с планом прошедшего времени. А в конструкции *Сергей будет писать письмо* или *Сергей напишет письмо* формы *будет писать* и *напишет* указывают на возможность действия в будущем, поскольку оно планируется после момента речи.

Вместе с тем, момент речи как точка отсчета грамматического времени имеет относительный характер, проявляющийся таким образом: с одной стороны, настоящее, прошедшее и будущее по отношению к моменту речи могут оцениваться безотносительно к объективному времени, а с другой стороны, наоборот. Отсюда – возможности переходов, видоизменений временных значений глагольных единиц, которые приводят к переносному, метафорическому употреблению временных форм, т.е. глагольная единица, традиционно связанная с конкретным временным планом настоящего, прошедшего или будущего, употребляется в значении другого времени.

Это происходит в том случае, когда говорящий мысленно переносится в другой временной аспект, как бы заново “проигрывая” прошлые события (Бондарко А.В. Вид и время русского глагола – М., 1971). Как правило, это обуславливается взаимодействием глагольных форм с определенными контекстными элементами – в большинстве

случаев – обстоятельствами с противоположным временным значением. Например: *Иду я по улице – Вчера иду я по улице – Представьте: завтра иду я по улице* и под. Естественно, что в каждом из данных предложений реализуется определенный, отличный от другого, временной план настоящего, прошедшего или будущего, зависящий от соотношения значения времени, выраженного в глагольном компоненте, с тем или иным значением времени, представленным в контекстном элементе.

В результате функционирования переносных форм времени создаются дополнительные художественно-экспрессивные возможности, в частности, эффект присутствия автора или читателя в событиях отдаленного прошлого или будущего. Момент речи персонажа, с одной стороны, и момент речи автора – с другой, предполагают дополнительные временные видоизменения, переходы, которые не всегда связаны с реализацией тех или иных обстоятельств времени или ближайших элементов контекста.

Сам временной переход формируется в таком случае при взаимодействии двух типов изложения событий в художественном тексте: авторского повествования, реализованного системой прошедшего времени, и речи персонажей, которая формируется языковыми элементами настоящего времени. Такие темпоральные изменения, как правило, можно наблюдать в более широком контексте, например, в абзаце:

“Червь *дремал*, он не *шевелился* в разжатой руке. От него *пахло* рекою, свежей землей и травой; он *был* небольшой, чистый и короткий, наверно, детеныш еще, может быть, уже худой маленький старик. – Отчего ты *живешь*? – говорил Егор. – Хорошо тебе или нет?” (Платонов).

Здесь глагольная форма настоящего времени *живешь*, представленная в речи персонажа, под влиянием форм прошедшего времени в речи автора *дремал*, *шевелился*, *пахло*, *был* реализует аспект прошедшего в результате временного контекстного перехода. Это обуславливается тем, что рассматриваемая организация авторского повествования является более сильной, доминирующей в тексте. Указанное явление подчеркивается и установлением отношений одновременности темпоральных форм обоих типов речи: *червь дремал, не шевелился, пах, жил // Егор в это время говорил*.

Однако иногда можно проследить обратный процесс: переход, хотя и не окончательный, частичный, форм прошедшего времени авторского повествования в темпоральный план речи персонажей, в частности:

“Чиклин здесь *вышел* на высокое крыльцо и *потушил* фонарь активиста – ночь и без керосина была светла от свежего снега.

– Хорошо вам *теперь*, товарищи? – *спросил* Чикли^н.

– Хорошо, – сказали со всего оргдвора. – Мы ничего *теперь* не *чем*, в нас один прах остался (есть)” (Платонов).

В рассматриваемом контексте временной аспект настоящего усиливается под влиянием указателя *теперь*. Это, в свою очередь, определяет и частичный переход прошедших форм авторского повествования во временной план речи персонажей.

Естественно, что более ярко такого типа изменения прослеживаются в момент наблюдения:

“Она и *сейчас* вся *дрожала*, эта тонкая девушка, с нежной внешностью, с волей закаленного бойца.

– Я даже *не знаю* его имени и *теперь не знаю*, хотя никогда не забуду его. Он всегда будет передо мной, такой сильный, мужественный, прекрасный!..” (Полевой).

Здесь усиливается аспект настоящего не только в речи персонажей, но и в авторском повествовании за счет актуализации указанного временного плана, обстоятельствами времени *теперь*, *сейчас* в двух типах речи.

При наличии временного конкретизатора со значением прошедшего или будущего, который присоединяется к глагольным формам настоящего времени речи персонажей, формируется темпоральный разрыв, обуславливающий опосредованный перевод указанного временного плана в аспект соответственно давнопрошедшего или будущего. Например:

“– Дело очень просто, Магнус... ведь вы предупреждали (предупрежденным являюсь) Меня? *Завтра (Вчера)* мой Топпи *укладывает* чемоданы и Я *еду* в Америку продолжать дело с ...консервами” (Андреев).

Несмотря на то, что временной план авторского повествования в грамматическом аспекте здесь точно не определен (может быть настоящий, прошедший и будущий), речь персонажей относится к будущему, если есть детерминант *завтра*, или к прошедшему/давнопрошедшему при наличии конкретизатора *вчера*, поскольку вступает в определенные оппозиционные временные отношения с авторским повествованием: *поеду именно после того, как поговорю, скажу или сказал // укладываю, еду, а потом говорю или говорю*.

Следовательно, можно говорить не просто о переносном функционировании форм времени, которое нашло яркое отображение в грамматиках русского языка, но и о взаимодействии временных планов автора и персонажа как об одном из выразительных средств в художественной литературе.

Украина,
г. Черкассы

Язык прессы*Когда не все средства хороши*

*А.В. НИКОЛАЕВА,
кандидат филологических наук*

Для нашего времени характерно вхождение в публицистику таких слов и выражений, которые ранее могли быть использованы исключительно в устной речи. Устная речь спонтанна, образна. В ней можно играть словами, интонацией, в ней простительны оговорки. Письменная речь совсем другая. Письменный текст мы видим, в нем важна каждая буква, каждый знак. Здесь диктует норма, которая требует правил и существует в образцах. Тем более досадны ошибки в газетных материалах. В отношении читателя к автору неизменным остается ожидание компетентного суждения, поэтому каждая языковая погрешность может уменьшить информативную ценность публикации, заставить читателя сомневаться в профессионализме журналиста.

На страницах газет мы можем увидеть огромное количество ошибок самого разного плана – фактологических, семантических, стилистических, орфографических и пунктуационных. Все эти языковые нарушения можно условно разделить на две группы. Прежде всего это ошибки, которые в самом общем виде выглядят как случайные. Сами журналисты называют их “очепятками”. Хочется привести несколько примеров таких опечаток. Чтобы не прославиться в роли “ловца блох”, оставлю на совести авторов орфографические и пунктуационные ошибки и перейду сразу к семантическим, которые больше всего веселят читателя: “Система противочумных станций начала складываться в России в конце 19 века, а к началу перестройки в СССР было более 100 организаций, занимавшихся борьбой с особо опасными инфекциями. Такое значительное даже по тем временам количество полностью себя оправдало... победить чуму в Средней Азии так и не удалось” (МК. 2000. 28 июня); “...чтобы не оставить отпечатков пальцев, пред-

лагали обернуть ноги целлофаном...” (МК. 2000. 24 июня); “Одна из старушек, которой было 73 года от роду, лежала на полу в кухне, вторая, 88-летняя (ее парализовало еще при жизни) – в комнате на кровати” (МК. 2000. 22 июня); “Когда следующим вечером они встречаются в ресторане, его желудок прыгает, и при виде ее он чувствует головокружение” (г-та “Свежий номер”. 2000. 25 мая).

Даже из этих нескольких строк читатель может узнать много нового. Например, что парализовать может и после смерти, что “прыгающий” желудок – явный симптом любовной горячки и т.д.

Если орфографические ошибки можно списать на счет небрежной корректуры, то здесь ситуация серьезнее. Речь идет о недостаточном внимании к слову, к построению фразы, полное отсутствие того, что принято называть “языковым чутьем”. Отсюда и такой, например, “поздравительный” адрес любимому учителю: “Преданный своему делу учитель математики школы 37 В.М. Титов. На уроках он преображается, становится очень красивым” (г-та “Воробьевы горы”. 2000. Сентябрь).

Но встречаются и такие языковые нарушения, которые специально введены в текст, акцентируются в нем, являются его эмоциональным центром. Подобная организация материала становится все более популярной.

Основные компоненты любого высказывания – осмысление (поиск актуального значения объекта) и передача его результата. Поэтому в нарушениях, представленных в текстах, не может не находить отражения мыслительный аспект. Он проявляет себя как нестандартный способ описания какого-либо объекта. Например: “Не путайте политику с правозащитной деятельностью. Это правозащитники основываются на морали, а политики – на рационализме” (Комс. правда. 2000. 2 марта). То есть понятие “рационализм” преподносится как несовместимое с понятием “мораль”. Соответственно понятие морали также приобретает новое значение. Автор представляет в качестве несовместимых, антонимических структур понятия, которые таковыми не являются. Происходит искажение нормированного, зафиксированного словарями значения слова. Здесь налицо специально сконструированное языковое нарушение (не ошибка в традиционном понимании слова). Используя такое построение текста, автор хочет сделать свои весьма спорные выводы более убедительными и доказательными. Это первый аспект специально смоделированных нарушений.

Второй аспект нарушений – собственно речевой – связан с выбором подходящего языкового средства. Например: “Москвичи становятся все более вшивыми” (МК. 2000. 22 сент.); “...Ветеран с прогнившей крышей” (Комс. правда. 1997. 22 нояб.); заголовок в “МК”: “С РАЛЛИ на обочину” (МК. 2000. 10 июля).

Журналисты специально выбирают такую речевую единицу, ис-

пользуют такое построение предложения, которые в силу своей “ненормированности”, необычности сразу привлекают внимание читателя.

Внешне оба аспекта нарушений (мыслительный и речевой) проявляются одинаково – как неудачный выбор языковых средств. Но во втором случае мы легко можем исправить нарушение, заменив одну языковую единицу другой, близкой по значению. В первом же случае вольную трактовку понятия откорректировать нельзя, так как это противоречит задачам автора, искажает смысл высказывания в целом.

Как известно, эффективно отступать от норм могут только те, кто прекрасно владеет этими нормами. В остальных же случаях изобретательство новых способов описания свидетельствует лишь о низкой языковой культуре. Точнее, однако, было бы говорить здесь о низком уровне речемыслительной культуры, о недостаточном понимании того, что нельзя произвольно расширять семантический объем конкретного слова, понятия, акцентировать частное в ущерб основному, общепринятому пониманию явления. Читателя лишают его главного права – права получать сообщение в нормированной, близкой ему системе символов и образов.

Еще одна из характерных примет современной журналистики – ориентация на грубое, грубо-просторечное, жаргонное слово. Нельзя запретить журналистам использовать в материалах подобные слова и выражения. Язык – живой организм, развивается по своим законам. Но необходимо постоянно напоминать практикующим работникам пера, что свобода руки кончается там, где начинается чужое лицо. Нарушая нормы русского литературного языка, мы нарушаем в определенном смысле и этические нормы. Каждый имеет право получать информацию в корректной и доступной для него форме. Игра же в экспрессию часто вовсе лишает читателя возможности понять, о чем же идет речь. Смысл становится вторичен, первична форма: “Ирина Роднина отбросила коньки в Лос-Анджелесе” (Последние новости. 1997. 28 февр.); заголовков в “МК”: “Убойное смотрилово” (МК. 2000. 22 сентября).

Причиной все более активного вовлечения в текст ненормированной лексики является прежде всего неизбежный процесс поиска все более и более экспрессивно выразительных средств. Демократизация языка, а вернее его либерализация, вторична по отношению к первой причине.

Надо отметить, что интерес к языковой игре, внимание к слову, желание создать оригинальный образ уже на уровне одного слова – явление в целом положительное и интересное. И есть много тому подтверждений в современной публицистике. Например, журналист Д. Быков в одном из своих очерков в журнале “Огонек” (2000. № 40), рассуждая на тему человеческого бессердечия и жестокости, делает

центром текста одно слово, обыгрывая его разные значения: “Силуянов и я как-то в наряде, куда мы опять попали вместе, довольно долго рассуждали о том, что если Христос и явится во второй раз, то уж точно туда, где его меньше всего ждут. Потому что если и проверять людей на терпимость и милосердие, то в условиях экстремальных. И проповедовать он ничего не будет, потому что никакая проповедь никого еще не исправила. А только проверять самим своим существованием, отделяя тех, кто его травит (и следовательно, безнадежен), от тех, кто защищает (и следовательно, пойдет в рай). Сам собой разговор перешел на Кучу (герой очерка, солдат, которого все били и унижали. – А.Н.).

– Вот и вчера его побили, – сказал Силуянов. – За то, что проспал в караул.

– Не побили, – уточнил я. – Его распинали сапогами, и он пошел.

Невинное слово распинали, от простого пинать, произвело на Силуянова чудовищное действие... И когда кто-то – даже не особенно сильно – пнул Кучу, когда тот замешкался при построении, Силуянов взвился и отшвырнул обидчика.

– Не трогайте его! Это Христос!”

Теория встроенности текстовой модели в социум всегда привлекала исследователей. Обусловленность текста социальной ситуацией так же очевидна, как и то, что именно в знаке происходит накопление мельчайших социальных преобразований, еще не нашедших реального воплощения в действительности. Поэтому от того, как строят журналисты диалог с читателем, во многом зависит будущее нашего общества, уровень его культуры в целом и языка в частности.



Из архивных источников



ЗАБЫТАЯ РУКОПИСЬ

М.А. ГРАЧЕВ,

доктор филологических наук

В библиотеке Российской академии наук (Санкт-Петербург) хранятся две толстые тетради (всего двести двадцать три страницы), имеющие заголовок: “Исследование жаргона преступников”. Эта рукопись, в которой содержатся аргю, сказки, блатные песни и поговорки преступного мира начала XX века, принадлежала Павлу Петровичу Ильину, заключенному Александровской каторжной тюрьмы Иркутской губернии. П.П. Ильин был осужден в 1906 году.

В 1912 году он завершил свою работу и послал рукопись профессору И.А. Бодуэну де Куртенэ, известному своими смелыми суждениями. Последний, ознакомившись с ней, передал ее в АН России, академику А.А. Шахматову. Всё это зафиксировано на обложках тетрадей.

В рукописи собран уникальнейший материал, который способен обогатить наши знания о субкультуре криминальных сообществ начала XX века.

Сведения об авторе очень скупы. Бывший студент Технологического института, возможно, осужденный за революционную деятельность, П.П. Ильин, несомненно, обладал языковым чутьём и даром писателя. Многие его высказывания заслуживают самого пристального внимания, некоторые из них являются пророческими: “... и язык преступника так же мрачен, как осенняя ночь, и так же груб, как тот нож, который вонзается в горло жертвы, или тот застенок, в котором томится потом представитель лагеря отверженных”; “... если произойдёт слияние преступного жаргона с русским (общенародным. – М.Г.) языком и

первый растворится в более богатом и устойчивом, – во всяком случае, ... подобное слияние нельзя считать прогрессивным и желательным явлением”.

Большой интерес представляет сделанная П.П. Ильиным классификация арго как по социальному, так и по территориальному признакам, при этом исследователь приводит ряд аргоизмов, не отмеченных ни в одном источнике. В его материале имеется общеуголовное, тюремное и специализированное арго. Так, к общеуголовному арго (в него входит лексика, употребляемая всеми разрядами деклассированных элементов) относятся следующие слова: *мент* “полицейский”, *квартель* “квартальный надзиратель”, *стервец* “черный хлеб”, *каты* “сто рублей”, *лафеты* “штиблеты, башмаки”, *чмок* “галстук”, *хабар* “взятка”, *метла* “ружье”, *ридикюль* “ночлежный дом”, *ломбард* “полицейский участок”, *штымп* “потерпевший; жертва преступления” и проч. К сожалению, большинство аргоизмов приведено без примеров.

Широко представлено тюремное арго: *горловой*, *духовой* “арестант, занимающий привилегированное положение среди уголовников”, *чинодрал*, *причиндал* “преступник, занимающий какую-либо служебную должность в тюрьме – писаря, служителя больницы и т.п.”, *жмот*, *асмодей* “тюремный ростовщик”, *aborиген* “постоянный обитатель тюрьмы”, *крепостник* “арестант, отбывающий наказание в крепости”, *максим* “сумасшедший”, *горлопан*, *горлохват* “прислужник главарей арестантов”, *гад* “злой старый надзиратель”, *бессмертная*, *вечная* “пожизненная каторга”, *товаец* “политический заключенный, еврей по национальности”, *порядочный кусок огрѣб* “получил по приговору суда длительное заключение в местах лишения свободы”. Вот диалог между беглым арестантом и тем, кто сидит в остроге:

– Алмазов! ... Откедова?

– Накапай (предай. – М.Г.). Мент сморкает (надзиратель смотрит. – М.Г.) на лобу!... Где был, там нету.

Небольшая пауза, потом оборванец начинает с важностью:

– Сармак на киче вячит? (Деньги в остроге имеются? – М.Г.).

– Нет так, чтоб оченно... Однако хрустит (имеются деньги. – М.Г.).

– Майдан почѣм гуляет (в картѣжном банке сколько денег. – М.Г.)?

– Дыть, как скать? Полкосой подымет ... (Пятьдесят рублей будет. – М.Г.).

– Лады!... Мокротно (опасно. – М.Г.) тут... Коль скоро зашухуруюсь (попадусь), махну к вам майдан держать (буду банковать – при игре в “очко”. – М.Г.).

Рукопись поражает обилием материала, относящегося к профессиональному арго:

воров-карманников (*чмокать*, *ударять по ширме*, *шиманать* – “воровать из карманов”, *мойка* “воровство у пьяного”, *кожа* “бумажник”, *флоким-шисер* “первоклассный крупный вор”);

грабителей (*вязка* “грабёж под угрозой оружия”, *стопарка* “вооруженное ограбление”, *стопарить* “грабить с оружием”, *взять на гивку* “взять за горло при грабеже”);

шулеров (*апостол* “валет”, *маньчжурское золото* “туз (игральная карта)”, *тонкая резка*, *тонкая ковка* “хорошо проведённая шулерская игра”, *клин*, *бочонок*, *кругляк*, *пятерик*, *чёт-нечёт*, *калибрак*, *балалут*, *кнут* “шулерский прием” (почти все названия шулерских приемов встречаются и в “Толковом словаре живого великорусского языка” В.И. Даля);

фальшивомонетчиков (*бланишь* “печать”, *железная липа* “отлично подделанный паспорт, безопасный для предъявления в полицейском участке для прописки”, *канифта* “медь, используемая для подделки документов”);

церковных воров (*клюк*, *кляука*, *кузня* “церковь”, *кдюшник* “церковный вор”, *каштан* “служитель в церкви”, *вышеловка* “церковная кружка, куда кладут металлические деньги”, *гиена*, *шакал* “кладбищенский вор”);

конокрадов (*потышник*, *скамеечник* “конокрад”, *скамейка*, *потыка* “лошадь”, *рихт* “конокрадство”, *колесуха* “телега”, *юбка* “шлея”);

воров-домушников (*видра* “отмычка”, *гитара* “долото, ломик”, *скоч* “квартира, дом как объект преступления”, *шаер* “небольшой ломик, предназначенный для взлома запоров”).

Арго проституток, по мнению исследователя, имеет свои территориальные особенности. Например, в Петербурге используются слова: *гость* “всякий посетитель публичного дома”, *карандаш* “гимназист”, *пистолет* “подросток”, *бум-бум* “модная прическа”, *генерал*, *сифон* “сифилис”. В южных губерниях: *отрава моя недорогая*, *дешёвка* “некрасивая проститутка, берущая самую дешевую плату”, *метлик* “мужчина”, *метлица* “женщина” и др.

П.П. Ильин подчеркивает “сборный” характер арго. Например, он свидетельствует о переходе жаргонизмов моряков в арго: *дредноуты* “грубые громадные башмаки каторжников с тяжелыми подковами на подошвах”, *инглишмен* “матрос-англичанин”, *гутбой* “половой в чайной или трактире”, *арнаут* “беглый”, *сидеть на якоре* “жить впроголодь”.

Исследователь утверждает, что имеются территориальные арготизмы. Так, в иркутской тюрьме про умершего говорят: “отправился по усольскому тракту, похрял по усолью”; в тобольской тюрьме: “отправиться под берёзки”. Слово *магагон* “дурак”, по мнению Ильина, употребляется только в Саратовской губернии, *иёлд* “жертва преступления” – на юге России, *ракло* “профессиональный преступник” – в Харькове, *гон* “ночлежный приют” – в Петербурге, *хитрая избушка* “трактир, служащий местом сбора воров” – в Сибири.

П.П. Ильин обращает внимание и на многочисленные иноязычные

заимствования в русское арго из английского, французского, немецкого, еврейского, польского и других языков. Он также указывает, что некоторые арготические слова уходят в пассивный запас, на их место приходят новые (*желток* – “золотые часы”, *белок* – “серебряные часы”, *тава* – “прокурор”).

Рукопись ценна и тем, что по зафиксированным арготизмам можно определить, какие из них перешли в общенародный язык, а какие – так и остались в арго. Так, в общенародный язык перешли такие слова и выражения, как *крест поставить* “окончательно порвать с каким-либо делом”, *снять* – в арго сибирских бродяг – “убить из огнестрельного оружия” (в общенародном языке – “ликвидировать часового”), *попасть в переплет* “оказаться за решеткой”, *притон* “место, где собираются преступники”, *икру метать* “пресмыкаться перед богатым человеком; отчаянно ухаживать за кем-либо, исполнять капризы женщины” и проч.

Пословицы и поговорки, собранные П.П. Ильным, имеют отчетливо криминальный характер, например: раньше был товарищ до гроба, теперь – до первого следователя; обратник (беглец. – М.Г.) лишний век живет – давно убить следует; кому каторга, кому мать родная; одиннадцатую заповедь помни – не зевай. Учитывая, что ряд пословиц и поговорок для читателя будет непонятен, Ильин дает им пояснения: бей, пока болен, а выздоровеет – сам отдует (в смысле – пользуйся случаем); за полбутылки весь Петербург купишь (намек на продажность и взятничество петербургской полиции); карта не кобыла – к рассвету повезет (т.е. счастье в игре изменчиво); бродяга за луну, за звезды держался, только солнце мало-мало рукой не схватил (намек на хвастовство старых бродяг).

В тетрадах записаны шесть блатных песен: “Бродяга”, “Поселенец молодой”, “Гляжу я сквозь решётку...”, “Сибирский этап”, “Александровский централ”, “Подкандалный марш”. Эти песни, вероятно, были тщательно отобраны П.П. Ильным. В них отсутствуют нецензурные слова и почти не содержится оскорблений в адрес правоохранительных органов, типичных для всех воровских песен. Возможно, это объясняется определенной цензурой, через которую прошли тетради. Тематика этих песен небогата: преступление, тюрьма, тоска по свободе и семье. В качестве примера приведем одну, достаточно распространенную в то время среди преступного мира – Подкандалный марш:

В моей душе огонь горит,
Придется нам расстаться,
И мне на каторгу идти
И в кандалах таскаться.

Отец мой старый слезы льет,
А мать про то не знает,
Что сын ее в Сибирь идет
И родину бросает.

Не плачь, отец, возьму с собой,
Конвой пойдет за нами.
И подкандалный марш споем
Мы с горькими слезами.

Мы до Сибири не дойдем,
Там все лишь раз узнаем,
Опять на родину придем,
С друзьями загуляем.

Особый раздел в материалах П.П. Ильина занимает литературное творчество заключенных: сказки, легенды и стихотворения. Исследователь отмечает, что в сказках преступников добродетель наказывается, а порок торжествует. (Сказки уголовников в литературном произведении одним из первых использовал Вс. Крестовский в романе “Петербургские трущобы”, 1864 г.)

Следует отметить одну особенность исследования: оно проведено объективно, без какого-либо намека на жалость к уголовному элементу или заискивание перед правоохранительными органами, с использованием ряда работ по проблемам профессиональной преступности.

Рукопись заканчивается словами:

Павел Петрович Ильин 20.08.1912.

Александровская каторжная тюрьма Иркутской губернии.

Нижний Новгород

Язык рекламы***Аргументы в рекламе****Н.И. КЛУШИНА,**кандидат филологических наук*

Как известно, реклама возникла вместе с конкуренцией товаров, когда появилась необходимость убедить аудиторию, что твой товар лучше. Вспомним М. Жванецкого, утверждавшего, что если в доме одно окно, то и рейтинг у него будет самый высокий. Поэтому любой рекламный текст – текст аргументированный. Аргументы бывают рациональными (воздействующими на разум человека) и эмоциональными (воздействующими на человеческие чувства). Н. Арнольд высказывает мнение, что “наиболее устойчивы стереотипы, в основе которых лежат инстинкты – человек все же больше животное, чем человек” (Н. Арнольд. Тринадцатый нож в спину российской рекламе и public relation. М., 1997. С. 45), но подобные стереотипы популярны только среди определенных групп населения (молодежь, менее образованные слои населения, т.е. и возрастная, и образовательная, и культурная стратификация обязательно должны учитываться рекламистом в продвижении определенного товара). А цель рекламы – максимальное расширение числа потенциальных покупателей. Именно поэтому в одном и том же

рекламном тексте мы встречаем как апелляцию к разуму (авторитеты, рейтинги, статистика), так и к чувствам (решаемую на уровне выбора слова – слова с положительной семантикой), не исключаются, конечно же, и инстинкты.

Вначале рассмотрим аргументы, воздействующие на разум адресата, т.е. рациональные, логические аргументы. Их много, и они разнообразны.

Излюбленным аргументом в рекламе является ссылка на авторитеты. Авторитетное мнение всегда организовывало в заданном направлении общественный вкус. Российскому менталитету изначально было свойственно с почтением относиться к авторитетам (царь, барин, ученый человек), т.к. изначально в российском обществе существовало стремление к идеалу, к самосовершенствованию. Об этом свидетельствует, например, “подравнивание” (гиперкоррекция) речи крестьян под стандарты городской речи, а также речи высшего сословия как к эталону, о чем писала Т.Г. Винокур (Говорящий и слушающий. М., 1993). Линия речевой культуры шла вверх: от низших классов общества к высшим, в отличие от современной языковой ситуации, когда в речи образованных слоев общества очень часто используется жаргон.

Но роль авторитетного мнения высока до сих пор. В рекламе часто можно встретить ссылки на авторитеты конкретные и абстрактные. Так, в рекламе аппарата “Витязь” используется ссылка на конкретный авторитет: “Рекомендован Минздравом России для домашнего применения” (АиФ. 2000. № 8). Минздрав – министерство, оставшееся с советских времен и зарекомендовавшее себя как главный орган в российском здравоохранении. Оценка предлагаемого товара специалистами конкретных государственных учреждений – широко используемый аргумент в продвижении товаров и услуг: “По оценке специалистов Медицинского центра УДП РФ, Военно-медицинской Академии г. Санкт-Петербурга, Института питания РАМН, ФОРЛАКС является эффективным и безопасным средством...” (Работница. 1999. № 4). Составители этой рекламы, как видим, не могли избежать своего любимого приема “нализывания”, “наращения” (в данном случае перечня авторитетных учреждений).

Известная личность – это также находка для рекламы (Л. Долина, рекламирующая таблетки, помогающие избавиться от лишнего веса, Г. Польских, мастерски объясняющая, почему масло “Доярушка” такое вкусное и др.). То же наблюдаем в политической рекламе, когда известные певцы, актеры, режиссеры поддерживают своим широко известным именем какого-либо претендента в депутаты.

Конкретный аргумент – это и цитата из высказывания известного человека прошлого: «“Позвольте пище быть вашим лекарством, а земле и солнцу – вашими врачами”, – сказал однажды великий врач древности Гиппократ» (реклама “Витязя”).

Абстрактные авторитеты – это “врачи рекомендуют”, “наука доказала”, например: “медикам хорошо знакомы и другие замечательные свойства капель...”. Абстрактные авторитеты не так действенны и наглядны, как конкретные, но тем не менее свою роль в убеждении адресата они тоже играют.

Эффективно воздействуют на мнение аудитории также упоминание, перечисление всевозможных премий, дипломов, полученных на престижных выставках данным товаром, а также регалий (научных званий, высоких должностей) тех людей, которые поддерживают предлагаемую продукцию.

Так, в круглом столе, показанном по РТР в 1999 г., рассказывали о достоинствах немецких препаратов “Вабензим” и “Флогензим”, применяемых в энзимотерапии, не просто медики, а профессора Санкт-Петербурга. Реклама “гепатит – смертельная угроза!” (АиФ. 2000. № 7) подписана инфекционистом-гепатологом, профессором Н.М. Беляевой. В этой же статье рассказывается о препарате БИОНОРМАЛАЙЗЕР, который предложил японский ученый, академик Д.А. Осато. Без звания “академик” фамилия японского ученого не являлась бы аргументом для русского читателя. Здесь же приводится и еще один логический аргумент: «Всемирная организация здравоохранения наградила академика Осато премией за создание “Бионормалайзер”».

Еще одним эффективным аргументом являются результаты социологических опросов. Здесь рекламист играет на стремлении своего адресата если не быть как все, то, по крайней мере, быть не хуже других. Иными словами, мнение большинства столь же авторитетно, сколь и мнение конкретной знаменитости. Например, “как иностранный изучают французы...”: «Французы оценили методiku “Intellect”, основанную на “эффекте 25-го кадра”, как одну из 5 самых прогрессивных методик в обучении иностранным языкам» (АиФ. 2000. № 6).

Математика – наука точная. И цифры, графики, таблицы оказывают мощное воздействие на разум читателя: «Клинические испытания доказали, что до 95 процентов пациентов, использующих “Витязь”, полностью излечились»; “Принимающие Веторон в 5 раз реже болеют гриппом...». Даже если это приблизительные цифры, они все равно создают квазинаучный стиль и оказывают непосредственное воздействие на адресата.

Итак, авторитеты (конкретные и абстрактные), почетные регалии (дипломы, звания, премии) – это давно и широко применяемые в рекламе логические аргументы. В последнее время к ним следует добавить несколько новых. Действенным аргументом стали данные экологических исследований. Стремление к здоровому образу жизни, к здоровой пище, к здоровой окружающей среде учитывается рекламистами. И поэтому “экологически чистый продукт” – это сильный аргумент в продвижении товара. Так, на пакете молока, произведенном известным

российским концерном Панинтер, можно прочесть: “Молоко из экологически чистого района Подмосковья”. Масло “Анкор” – из Новой Зеландии, где девственная, не испорченная человеком природа. Чудо-йогурт – без консервантов. И опять-таки в рекламе часто описываются два полюса: загрязненная, агрессивная окружающая среда: “По мере развития цивилизации человек все дальше уходит от нормальных условий природы и все больше окружает себя высокотехнологичными объектами, которые генерируют сильные импульсные электромагнитные поля. Телевизор, сотовый телефон, холодильник, кофеварка, кварцевые часы, компьютер, искусственные спутники высоко в небе и антенны локаторов под боком – кто из нас свободен от всего этого?” (АиФ. 2000. № 8) – и “чистота и уют в вашем доме” (достигаемый определенным набором тех же приборов: фильтр для воды, пылесос, кондиционеры).

Позитивным аргументом для России стало признание высокого качества своей, отечественной продукции. Мы “насытились” дешевыми импортными некачественными товарами, продуктами и вернулись к нашим традициям, истокам. Если раньше в рекламе ссылались на традиционное зарубежное качество: “высокий класс настоящего немецкого качества” (“Ласка”), то теперь в этот ряд аргументов стала апелляция к традиционному российскому качеству: “тот самый вкус – тот самый чай”; “вкус, знакомый с детства” и др. По этой же причине не меняются этикетки конфет, названия газет.

Таковы основные логические аргументы рекламных текстов. На языковом уровне они поддерживаются вводными словами, указывающими на источник (авторитетный) сообщения, словами конкретной семантики (диплом, премия), научными терминами (антиоксиданты, бета-каротин, названия болезней).

Но иногда самым убедительным является не слово, а цифра: цена, которая может свести на нет все усилия и ухищрения рекламиста, если она очень высока. Но это уже экстралингвистические факторы, как и розыгрыши призов, распродажи, являющиеся дополнительными аргументами в выборе товаров.

Не так давно член-корреспондент РАН Ю.Л. Воротников закончил перевод на современный русский язык одного из древнейших литературных памятников – “Физиолога”. Книга еще ждет своего издателя, а мы попросили Ю.Л. Воротникова познакомить наших читателей с ней и рассказать о работе над этим произведением.



КРУГ ЧТЕНИЯ НАШИХ ПРЕДКОВ: “ФИЗИОЛОГ”

*Ю.Л. ВОРОТНИКОВ,
член-корреспондент РАН*

В своей книге “Развитие русской литературы X–XVII веков” Д.С. Лихачев писал: “...история культуры есть не только история изменений, но и история накопления ценностей, остающихся живыми и действенными элементами культуры в последующем развитии. Поэзия Пушкина – это не только явление той эпохи, в которую она создавалась, завершение прошлого, но и явление нашего времени, нашей культуры. То же мы можем сказать и о всех произведениях древней русской литературы – в той мере, в какой они читаются и участвуют в культурной жизни современности...” (Изд. 3-е. СПб., 1998).

Однако читается в наше время, к сожалению, лишь очень и очень незначительная часть памятников древнерусской письменности, составлявших круг повседневного чтения наших предков. Большинство этих памятников просто недоступно широкому читателю из-за отсутствия их изданий, а опубликованные непонятны (или малопонятны, что зачастую еще хуже) неспециалистам, так как число владеющих церковнославянским и древнерусским языками сократилось в нашей стране до величины исчезающе малой. Поэтому основным способом их популяризации до сегодняшнего дня остается перевод на современный русский язык. В этой работе самое активное участие принимают ученые-филологи Отделения литературы и языка РАН. Достаточно вспомнить многотомную серию “Памятники литературы Древней Руси” под общей редакцией Д.С. Лихачева, удостоенную Государственной премии, а также недавно вышедшие в свет первые тома подготовленного в Пушкинском доме под руководством Д.С. Лихачева фундаментального издания “Библиотека литературы Древней Руси”.

Однако, как отмечали в своей статье “Проблемы изучения древнерусской литературы” Л.А. Дмитриев, Я.С. Лурье и А.М. Панченко, “публикация как таковая, даже с хорошим комментарием и переводом на современный русский язык, еще не делает древний текст доступным каждому: человек XX в. не сразу разглядит в этом тексте то, что видели в нем автор и современники. Временная дистанция есть одновременно и эстетическая. Сам читатель, как правило, эстетическую дистанцию преодолеть не в силах” (Культурное наследие Древней Руси. М., 1976). И если собственно межъязыковой перевод способствует преодолению у современного читателя языкового барьера, то помочь ему преодолеть эстетическую дистанцию призваны, с одной стороны, популярные работы по эстетике древнерусской литературы, а с другой – особый тип переводов, которые можно назвать художественными. Такие переводы часто являются не только межъязыковыми, но и межжанровыми, когда прозаическое сказание, например, переводится в виде поэтической баллады.

В XX веке, если речь идет о достаточно точном воспроизведении текста памятника, чаще говорят о его “поэтическом переводе”. Однако термин “переложение” или “переложение”, использовавшийся еще М.В. Ломоносовым, нам представляется во многих отношениях предпочтительным. Во-первых, он позволяет отличить этот вид произведений от собственно межъязыковых переводов, подчеркивая близость церковнославянского и древнерусского языков к современному русскому, во-вторых, он акцентирует их межжанровый характер, и в-третьих, свидетельствует, в отличие от термина “подражание”, о достаточно большой близости к тексту оригинала.

Поэтический перевод памятника не является, конечно, собственно лингвистической задачей, однако деятельность подобного рода не чуж-

да была Академии в прошлом. Вспомним многочисленные переложения церковнославянских текстов М.В. Ломоносова, а также поэтические переводы библейских текстов члена-корреспондента РАН С.С. Аверинцева и перевод “Слова о полку Игореве” академика Д.С. Лихачева.

“Физиолог” сложился, очевидно, во II–III веках н.э. в Александрии, где соприкасались культурные традиции Востока, языческого мира и раннего христианства. Он содержит сведения о реально существующих и фантастических животных, растениях и камнях. Свой материал он черпал у античных писателей, в памятниках египетской и библейской старины, в талмудических легендах. “Физиолог” обычно относят по жанру вместе с “Шестодневом” к разряду сочинений естественнонаучных, однако Н.К. Гудзий замечал: “даже в том случае, когда Физиолог повествует о реальных животных, деревьях и камнях, он сообщает о них вполне фантастические сведения” (История русской литературы. М.–Л., 1941. Т. I).

Для авторов “Физиолога” описание мира реального – не самоцель. Реальность – не более чем намек, ведущий к познанию мира сверхъестественного, основной их метод – “своего рода символическое ясновидение” (Карнеев А. Материалы и заметки по литературной истории Физиолога. СПб., 1890). Отсюда – особенность структуры физиологической саги: первая ее часть содержит описание какого-либо свойства животного, растения или камня, вторая дает его символическое толкование.

Популярность “Физиолога” в средневековых литературах Запада и Востока была очень велика. “Физиолог” и развившийся из него затем “Бестиарий” помимо греческого языка, были известны на латинском, армянском, эфиопском, сирийском, арабском языках, а также на старославянском, старофранцузском, старонемецком и др. Физиологическая сага оказала значительное влияние на западную средневековую церковную литературу, в первую очередь на проповедь, а также на церковную архитектуру, живопись, фольклор.

На русской почве известно не очень много списков “Физиолога”, наиболее ранние из которых относятся к XV веку. Восходят они к болгарскому переводу, сделанному в XII или XI веках. Есть основания полагать, что “Физиолог” был известен уже в Киевской Руси, о чем свидетельствуют, в частности, физиологические вставки в памятнике XIII века – “Толковой” Палее.

На Западе уже в Средние века существовала традиция поэтического переложения “Физиолога” или “Бестиария”. К XI веку, например, относится поэма, начинающаяся словами “Tres leo naturas” (“О трех естествах льва”), содержащая описание свойств двенадцати животных. В XX веке эту традицию блистательно продолжил своим “Бестиариумом” (1911) Гийом Аполлинер. Прекрасный знаток средневековой словесно-

сти, Аполлинер замыслил не просто перевести “Бестиарий” на современный французский язык в поэтической форме. Он написал совершенно оригинальное произведение, в котором в то же время ему удалось передать жизненность современного человека так, чтобы при этом охватывались заветы самой высокой гуманистической культуры. Аполлинер создал новую, современную редакцию “Бестиария”, при этом оставаясь в русле многовековой традиции литературной жизни этого памятника письменности.

На Руси “Физиолог” не подвергался поэтической обработке в такой мере, как на Западе. Пользовался физиологическими сказаниями Симеон Полоцкий. Физиологические “естествословные” уподобления являлись излюбленным художественным приемом поэтов так называемой “приказной школы” (Панченко А.М. Русская стихотворная культура XVII века. Л., 1973). Встречаются отголоски физиологической саги в творчестве Державина. Но попыток систематического стихотворного переложения “Физиолога” не предпринималось.

Впрочем, в каком-то смысле как аналог поэтического “Бестиария” можно рассматривать поэму В. Хлебникова “Зверинец” (1909). Символическое ясновидение, характеризующее “Физиолог”, было свойственно и великому “будетлянину”. В одном из прозаических фрагментов Хлебников писал: «Пусть на могильной плите прочтут: ...Он не видел различия между человеческим видом и животными видами и стоял за распространение на благородные животные виды заповеди и ее действия “люби ближнего, как самого себя”. Он... указывал на пользу использования жизненного опыта прошлой жизни наиболее древних видов. Так, он полагал, что благу человеческого рода соответствует введение в людском обиходе чего-то подобного установлению рабочих пчел в пчелином улье... Он высоко поднял стяг галилейской любви, и тень стяга упала на многие благородные животные виды» (Хлебников В. Проза. М., 1990).

А в поэме “Зверинец” есть такое место:

“О, Сад, Сад!..

Где мы начинаем думать, что веры – затихающие
струи волн, разбег которых – виды.

И что на свете потому так много зверей, что
они умеют по-разному видеть бога”.

Сравним эти высказывания с фрагментом “Шестоднева” из памятника XIV века “Мерило праведное”: “Бог прехитрый творец вся твари и великий промысленник человеческому животу и спасению во всеи своеи твари... вложил всем естеством норovy человекoм на учение, како которые подражати добрыe норovy, а лукавыe и нечистыe норovy отметати и гнусны имети всегда”. И несколько ниже: “Опче жили-

ще бчелам под матицею. Мудро строить медвяные соты, никосму же плоду вередя не творять” (Хрестоматия по истории русского языка. М., 1990).

И у Хлебникова, и в “Шестодневе” человеку предлагается учиться у животных, и в том, и в другом случае в качестве примера для подражания приводятся пчелы. Однако есть в этих двух вариантах мистической зоологии и существенные различия. В “Шестодневе” звери различаются, потому что бог всем им “вложил естественны норовы”, у Хлебникова они различны, потому что “умеют по-разному видеть бога”. В “Шестодневе” творец активен, тварь пассивна. У Хлебникова – наоборот.

И в том, и в другом случае звери – как бы зеркало бога. Но в “Шестодневе” бог отражается в этом зеркале, у Хлебникова – зеркало отражает его. Весьма существенный сдвиг точки зрения, свидетельствующий о глобальных расхождениях в картине мира человека Средневековья и XX века.

Приступая к работе над поэтическим переложением “Физиолога”, мы старались приблизить его, вслед за Аполлинером, к “жизнечувствованию” современного человека, избежав при этом таких существенных мировоззренческих сдвигов, как у Хлебникова. За основу переложения был взят не один какой-то конкретный список памятника. Привлекались преимущественно три его списка: относящийся к числу древнейших список Троице-Сергиевой лавры XV века, список Царского начала XVI века из собрания Уварова, а также список XVI века так называемого “Физиолога” псевдо-Елифания из собрания Дурова. Предпочтение отдавалось, во-первых, наиболее хорошо сохранившимся, а во-вторых, наиболее кратким описаниям того или иного животного, камня или растения. При этом мы старались переложить избранный отрывок как можно ближе к тексту оригинала. Приведем для примера описание одного из свойств змеи по списку из собрания Уварова и наше переложение этого отрывка.

“Змиа егда поидет пити води, ядь свой въ гнезде своем оставляет. Да не последи пьющия уморит. И ты, человече, егда идеши во церковь святую, всяку злобу остави домаси” (Памятники литературы Древней Руси. XIII век. М., 1981.).

Возжаждав, к источнику змеи ползут.
Но яда с собою они не несут,
В источнике, чтоб не испортить воды
И жаждущим влаги не сделать беды.

Так, в церкви пред ликом Христа предстоя,
От злобы будь чист, как от яда змея.

“Физиолог” в древнейшей редакции содержал 49 сказаний. Нами переложено 44 из них. Предлагаем на суд читателя восемь переложений, дающих некоторое представление об этом интереснейшем памятнике древнерусской письменности.

О сирене и кентавре

Сирена с кентавром – нечистые твари.
Кто менее Богу подобен в их паре?
Сирена гусыня есть до половины.
В кентавре – единство осла и мужчины.

Так в душах живущих соединены
И Божий алтарь, и сосуд сатаны.

О змее

О мудрой змее вам поведаю я:
Когда одряхлеет с летами змея,
К расселине узкой она притечет
И ветхую кожу с себя совлечет.

Запомни: к спасенью души мы придем
Лишь узким и скорбным путем.

О лисе

Лисицына хитрость во многом видна:
Когда на охоту выходит она,
Прикинется мертвой лисица
И ловит беспечную птицу.

И дьявол лукав: усыпит он твой разум
И душу заблудшую сцапает разом.

О саламандре

Есть в мире подлунном чудесного много.
Возьми саламандру: хранимая Богом,
Взойдет она в жаркую печь без боязни,
И пламя в печи моментально погаснет.

Запомни и ты, что пророк говорит:
Кто верует, в адском огне не сгорит.

О магните

Послушай, скажу о магните тебе я:
Магнит удивительной силой владеет.
Спокойно железные вещи лежат,
Магнит к ним приблизь – и к нему поспешат.

Так Господа нашего вечный магнит
К себе человеческий разум манит.

О единороге

Есть зверь, нарицаемый единорог,
Его не заманишь к себе за порог.
Но девушке чистой покорен сей зверь,
И кротко заходит в открытую дверь.

О Дева, невинная в женах, смогла ты
Ввести сына Божья в земные палаты.

Об ибисе-цапле

Порода нечистая в цапле видна,
Поэтому плавать не может она.
И ходит, и бродит по топкому дну,
И снулую рыбу вкушает одну.

Заломни: лишь чистому сердцем дана
Господней премудрости вся глубина.

О цапле-ардоне

Скажу об ардоне. Вот мудрая птица!
Когда она в месте каком возгнездится,
То там и живет, и берет свою пищу,
И места другого под солнцем не ищет.

И ты, человек, не ищи новизны:
Все истины в Божьем Писанье даны.



Сушец пеку, или Как лечили худосочие

А.Ф. ЖУРАВЛЕВ,

доктор филологических наук

В знаменитом труде Александра Николаевича Афанасьева “Поэтические воззрения славян на природу” (1865–1869) есть описание одного любопытного лечебно-магического приема: «От детской болезни, известной под названиями *стенъ, сухотка и собачья старость*, лечат так: когда придет время печь хлеба, то, посадив первую ковригу, посыпают лопату мукою, кладут на нее ребенка и до трех раз всовывают в устье истопленной печи; при этом одна баба стоит под окном и спрашивает другую, которая держит лопату: “что печешь?” – Стень пеку, сушец запекаю! Тот же обряд совершается против *грьжи и гнетеницы*: это называется *перепекать болезнь*» (М., 1994. Т. II). *Гнетеница* – вологод. “какая-то болезнь”, олонек. “дух, давящий по ночам спящих, вызывающий кошмары”, также нижегор., самар. *гнетница* “легкая лихорадка с ознобом”, вятск. *гнетуніца* “изнурительная лихорадка”, прочие названия сходных болезней или симптомов и их олицетворений, производные от глагола *гнести*: *гнетейя, гнётка, гнетобк, гнетуха, гнетучая, гнетучка...* (Словарь русских народных говоров. Л., 1970. Вып. 6. Далее СРНГ).

Замечательный русский этнограф, великий знаток народной культуры Д.К. Зеленин за названием лечебно-магического приема *перепеканье* (новгород., пермск., иркут. – СРНГ. Вып. 26), также нижегор. *перепекать* (младенца), усматривал «повторное “выпеканье” ребенка на хлебной лопате» (Зеленин Д.К. Восточнославянская этнография. М., 1991). Приведенное мнение разделяется и другими исследователями: «основанием для этой операции считается то, что будто бы такой ребенок не допекся в утробе матери» (Попов Г. Русская народно-бытовая медицина. СПб., 1903; Топорков А.Л. Ритуал “перепекания” ребенка у восточных славян // Фольклор: проблемы сохранения, изучения и пропаганды. Всесоюзная научно-практическая конференция. М., 1988; Топорков А.Л. “Перепекание” детей в ритуалах и сказках восточных славян // Фольклор и этнографическая действительность. СПб., 1992; Байбурин А.К., Левинтон Г.А. Похороны и свадьба // Исследования в области балто-славянской духовной культуры. Погребальный обряд. М., 1990; Байбурин А.К. Ритуал в традиционной культуре. Структурно-се-

мантический анализ восточнославянских обрядов. СПб., 1993; Славянская мифология. Энциклопедический словарь. М., 1995).

О верности догадки Зеленина судить затруднительно: (и с) п е ч е н и е как культурно ориентированная метафора естественного “изготовления” ребенка не является столь уж широко распространенной в восточнославянской ритуально-магической практике. Этнографические данные, на которые опираются соображения Зеленина и последователей, ощутимо скудны. За малостью материала многие пишущие на эту тему авторы не упускают случая упомянуть о применении обряда перепекания в случае с будущим поэтом Гаврилою Романовичем Державиным: “В младенчестве был весьма мал, слаб и сух, так что по тогдашнему в том краю [в Казани. – А.Ж.] непросвещению и обычаю народному должно было его запекать в хлебе, дабы получил он сколько-нибудь живности (Державин Г.Р. Записки из известных всем происшествий и подлинных дел, заключающие в себе жизнь Гаврилы Романовича Державина // Г.Р. Державин. Сочинения. Л., 1987).

Несколько шире эти народные представления находят отражение в собственно языковых формах. Некоторые русские слова и фразеологизмы реализуют “хлебопекарный” код естественного человеческого возникновения и существования: прежде всего это выражения *из одного теста сделаны* (ср. ерническую перелицовку известной в свое время песни: “Все ждала и верила, / Сердцу вопреки: / Мы с тобой два бублика / Из одной муки”), *расти как на дрожжах, новоиспеченный*.

Далее нужно упомянуть характерологическую диалектную лексику: *недопёка* – псков., смолен., калуж., рязан., тобольск., забайкал. “неумелый, нерасторопный и несообразительный в работе человек”, костром. “неаккуратная женщина, не убирающая дом”; уральск. “глуповатый человек, простофиля”; *непронёка* – вологод., псков., тверск., смолен., калуж., орлов., тульск., рязан., моск., нижегор., костром., забайкал. “неповоротливый, нерасторопный, ленивый человек”, “бестолковый, умственно ограниченный человек”, “простофиля, олух”; владимир., курск., “непробудный пьяница”; *непропечённый* волог., *непропечённый пирог* яросл. – “нерасторопный, непроворный человек”; *непронечь* – псков., тверск. “человек, которого трудно приучить к делу, порядку” (СРНГ. Вып. 21; Словарь говоров старообрядцев (семейских) Забайкалья. Новосибирск, 1999) и под. Сюда же нужно отнести выражения (*человек*) *старой закваски (старого кваса)* и сравнительно редкое *старого замеса*. Известную в диалектах метафору составляют слова *поскрёбок, поскрёбыш, поскрёбышек, подскрёбок, подшкрёбок* и др. “хлебец из остатков теста, соскобленного со стенок квашни” > “последний ребенок в семье” (СРНГ. Вып. 28, 30).

В метафорике нефольклорной словесности можно найти сходные ассоциации, может быть, даже рожденные знакомством с приведенными диалектными данными. В романе А.И. Солженицына “В круге пер-

вом” рисуется выразительный портрет сталинского адъютанта *Поскребышева*. В осмыслении отправного для его фамилии слова *поскребыш* “последний ребенок” Солженицын привлекает семантический момент “последний”, допуская тем самым незначительное смысловое смещение: “Его фамилия оправдывалась: выпекая его, ему как бы не наскребли в достатке всех качеств ума и характера”.

К очерченному образному кругу иногда причисляют выражения вроде *тертый калач*, *отрезанный ломоть*. Но, на наш взгляд, они демонстрируют несколько иные семантические связи: здесь не присутствует или притуплена (особенно в фразеологизме *тертый калач*) идея собственно и з г о т о в л е н и я хлеба.

К свидетельствам довольно косвенного характера можно отнести и кодирование “печи” в русских загадках выражениями вроде *Мать толста...* Впрочем, должна быть приведена замечательная загадка из собрания Садовникова: *Квашня притворена, а всходу нет* – о бездетном замужестве. Зауральск. *перепёча* “толстая неповоротливая женщина” (СРНГ. Вып. 26), по-видимому, является результатом метафорического преобразования значения “сдобный каравай, кулич”.

Во всяком случае, у префикса *пере-* в глаголе *перепекать* можно усматривать не только значение п о в т о р н о с т и действия (а именно это грамматическое осмысление лежит в основе зеленой трактовки), но и иную семантику, ср. *перебить*, *перешибить*, т.е. “подавить, превозмочь (в данном случае болезнь, хилость)”, а в самом акциональном содержании слова *перепеканье* допустимо видеть и просто “согревание” как общепринятый и достаточно рациональный способ изгнания простудного заболевания.

Подчеркнем, что русский ритуал (последнее известное нам его описание относится ко времени Великой Отечественной войны и к территории современного Усманского района Липецкой области: *сушец няку*), как и его аналоги – немецкий обряд “переваривания” ребенка, чувашский обычай, к которому прибегают для излечения детского художочия – все же преследует целью изгнание болезни, а не метафорическое завершение акта творения, вопреки расширительным сообщениям Д.К. Зеленина [Кучеев А.М. Об одном древнейшем способе врачевания (обряд перепекания) // Сельская Россия: прошлое и настоящее. Доклады и сообщения Седьмой Российской научно-практической конференции (Тула, ноябрь 1999). М., 1999; Познанский Н. Заговоры. Опыт исследования происхождения и развития заговорных формул. М., 1995; Магницкий В.К. Материалы к объяснению старой чувашской веры. Казань, 1881; Денисов П.В. Религиозные верования чуваш. Чебоксары, 1959].

В качестве сравнения со славянской традицией можно упомянуть устойчивое осмысление в а р к и как процесса с о т в о р е н и я (мира, человека, ребенка и т.д.) в мифотворческой и шаманской традиции

тюрков Саяно-Алтая, калмыков и др., обнаруживающееся, в частности, и в ритуалах целительной и охранительной направленности (Львова Э.Л., Октябрьская И.В., Сагалаев А.М., Усманова М.С. Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири. Пространство и время. Вещный мир. Новосибирск, 1988).

У народов Поволжья популярен сказочный сюжет о богатыре, выпеченном из теста бездетною старухой, имя его означает “тесто-богатырь” – татар. *Камыр батыр*, чуваш. *Чуста паттӑр*, марийск. *Ненчык патыр* (Ахматъянов Р.Г. Общая лексика духовной культуры народов Среднего Поволжья, М., 1981).

Ритуальное “окончательное оформление” ребенка, ассоциируемое с приготовлением пищи, известно у народов абхазо-адыгской языковой семьи: «...с метафорой рождения как акта еды [Неточность! Речь идет именно о кулинарных ассоциациях, а не об акте принятия пищи, как то нежелательным образом может быть понято в данном случае. – А.Ж.] был связан абхазский обычай в помещении, где происходят роды, подвешивать старинный медный котел для варки мяса. Он висел недели три до специального обряда, посвященного новорожденному. Факты такого рода характеризуют восприятие младенческого возраста в культуре абхазо-адыгских народов как постепенный переход из мягкого, неготового, состояния в твердое, готовое. Поскольку такой “кулинарный код” лишь один из способов превращения новорожденного в полноценное человеческое существо, и он дополняется мерами прямой физической правки [приглаживание бровей, прижимание ушей, пеленание ног для их прямизны и проч. – А.Ж.], то весь такой комплекс и соответствующий период следует охарактеризовать как “доделывание”» (Чеснов Я.В. Мужское и женское начала в рождении ребенка по представлениям абхазо-адыгских народов // Этнические стереотипы мужского и женского поведения. СПб., 1991).

Заслуживает упоминания обряд обмывания новорожденного ребенка, зафиксированный у чувашей: младенца «мыли в теплой воде, завернув в пеленку, укладывали в корыто и ставили в печь... Разумеется, смысл обряда заключается в желании “допечь”, закалить ребенка. Помимо того, последующее доставание нов[о]рожденного из печи также включает в себе смысл: печь, подобно утробе, наделяется свойством “родить”» (Салмин А.К. Народная обрядность чувашей. Чебоксары, 1994). Из цитируемого описания, однако, остается неясным, дают ли чувашскому обряду такое истолкование сами носители ритуальной традиции или оно целиком принадлежит наблюдателю-интерпретатору, являясь кабинетной версией.

Вообще варка человеческого тела (в виде имитативного обряда) и иные соприкосновения человека с печью, огнем, подражающие приготовлению пищи, широко представлены в инициационных ритуалах, знаменующих переход человека в новый социальный статус, у самых

разных народов. Еще богаче эта семантика регистрируется как сказочный мотив (исторически восходящий к тем же обрядам посвящения). В русской сказке это попытки Бабы-яги изжарить героя, бросание в печь мальчишка, отданного в обучение “дедушке лесовому”, купание героя в кипящем молоке, из которого он выходит писаным красавцем, и т.д. Подробно сказочные преломления рассматриваемой ритуальной семантики продемонстрированы в знаменитой книге Владимира Проппа “Исторические корни волшебной сказки” (СПб, 1996. 3-е изд.).

Кулинарные ассоциации естественного возникновения ребенка (вне связи с ритуалом), образ утробы-печи отмечаются и в неславянских литературах, ср., например, в “Словах” Ж.-П. Сартра: “... исчерпав аргументы, она призналась, что я родился десятимесячным – лучше проварился, чем другие, лучше пропекся, поджарился, поскольку дольше оставался в печи” (пер. Л. Зониной).

Славянские обычаи, в которых присутствует контакт ребенка с предметами, относящимися к хлебопечению, могут иметь и иные, по сравнению с уже приведенными, осмысления: “В некоторых областях Словении ребенка клали в квашню для замешивания теста, чтобы он всю жизнь не испытывал недостатка в хлебе” (Кашуба М.С., Мартынова М.Ю. Югославские народы // Рождение ребенка в обычаях и обрядах. Страны зарубежной Европы. М., 1997). Несколько ближе к осмыслению восточнославянского обычая мотивирование первого купания младенца у поляков: “Для купания брали деревянное корыто, в котором обычно замешивали тесто. От купания в таком корыте ребенок будто бы должен расти так же быстро, как тесто” (Ганцкая О.А. Поляки // Рождение ребенка в обычаях и обрядах. Страны зарубежной Европы. М., 1997).

Не исключено, что какое-то отдаленное отношение к описанным обнаружениям “кулинарного кода” имеет болгарский (но также греческий, ближне- и средневосточный, кавказский и среднеазиатский) обычай “соления” младенца, чтобы он в дальнейшем не потел и не издавал неприятного запаха, “как турок”, ср. выражение *солёный болгарин* (Вакарелски Хр. Етнография на България. София, 1974; Толстой Н.И. “Солёный болгарин” // *Studia slavica*. Языкознание. Литературоведение. История. История науки. К 80-летию Самуила Борисовича Бернштейна. М., 1991); обычай соления новорождённого ребенка упоминается в ветхозаветной “Книге Пророка Иезекииля” (16, 4).



Сырой или суровый в письменных памятниках XI–XVII вв.

К.Б. БАБУРИНА

В современном русском языке прилагательные *сырой* и *суровый* практически не связаны между собой. Только одно значение можно назвать для них общим – “не до конца выделанный, обработанный”, например, *сырые кожевенные материалы, сырое литье* (Словарь русского языка в 4-х томах. М., 1988. Т. 4); прилагательное же *суровый* сохраняет это значение лишь в сочетании с существительными *полотно, нитки* и т.п. (Там же).

Однако в древности эти слова были связаны гораздо теснее. Если мы обратимся к русским памятникам письменности XI–XIV веков, то увидим, что они имели сходное употребление, а значения во многом совпадали.

Так, прилагательное *сыръ(сырой)* означало, как и в современном русском языке, “сырой, влажный”: “Дъждьми показуеши сыра” (XI в.; для примеров использованы материалы “Словаря русского языка XI–XVII вв.”; Картотеки древнерусского словаря; Материалов для Словаря древнерусского языка И.И. Срезневского); “Сей же Исакий восприяъ житье крепко: облече бо ся во власяницу, и повеле купити собе козелъ, и одра мехомъ козелъ, и възвлече на власяницу, и осше около его кожа сыра” (1097 г.); “Биеть ты, не щадя, сырами говяжьями жилами” (1097 г.). В последнем примере, правда, не совсем ясно, что скрывается за словосочетанием *сырые говяжи жилы*, так как описания технологии изготовления таких плетей в древности не сохранилось.

В сочетании с существительным *жилы* могло употребляться и прилагательное *суровъ(суровый)*: “Тъгда Анфилать, разгневавъся, повеле и [св. Кондрата] съвлещити и на дьсте протягеше бити и жилами соурами”.

Прилагательное *сыръ(сырой)*, определяя растения, деревья, означало также “живой, зеленый”, совмеща в этом случае понятия воды и

жизни (влажный, полный соков = живой): “Зане аще въ сыре древе си творять, въ соусе что боудеть” (XI–XII вв.). В том же значении встречается и прилагательное *суровъ*: “Усушая древо сурово и проращая древо сухо (*chloron viride*)”. Показательно, что в этих примерах оба слова противопоставляются прилагательному *сухъ* (*sухой*).

Наконец, оба прилагательных *сыръ* и *суров* могли означать в древнерусских текстах “сырой, не подвергшийся обработке (не вареный, не печеный, не жареный)”: “Не могу сыра мяса ясти” (XIII в.); “Въ великъ же пяток хлебъ емы и сыро зелье” (XIV в.); “Дивлюся и оутробней влазе, иже иногда тяжка бывши от сладкия пища, ныне же суровое зелие и сухии хлебъ приемлюци терпитъ”; “Да не ядят от них соурова, ни варена в вод(е), но печена огнемъ” (1477 г. ~ XIII в.).

Это значение отражается в существительных *сыроядецъ* и *суровоядецъ* “тот, кто ест сырое мясо; хищник”, образованных от прилагательных *сыръ* и *суровъ* – “сырой, не подвергавшийся обработке”. Они встречаются как в древнерусских текстах, так и в более поздних – XVI–XVII веков, употребляясь так же образно, как “варвар, дикарь”: “Приидоша Печенези на Рус(ь) Бе Владимиръ же тогда в немощи къ смерти и призвавъ Бориса, сына своег(о), рече: сыну, се азъ труденъ, съ Божию помощию поиди противъ сыроядецъ сихъ” (1259); “Тои же зимы приехаша оканьнии татарове сыроядци Теркай и Касашкъ с женами своими” (XVI в.); “Ястреби соуровоядцы” (1512 г.); “Чтобы насть не побили суровоядцы” (1637 г.).

Однако слова *сыръ* и *суровъ* не были полными синонимами. Уже в текстах XI века прилагательное *суровый*, в отличие от прилагательного *сырой*, употреблялось в значении “дикий, жестокий”: “Въсехъ странъ суровеишем предамъ вы Вавилоняномъ”; “Якоже въ вълъцехъ соуровыйихъ агнице бескврънные” (1096 г.). Это значение не теряет актуальности и в более поздних древнерусских текстах: “Соуровый бо и сверепый и оубийственный образъ” (XIII в.); “Иродъ суровый”.

В древнерусских текстах встречаются и производные слова с корнем *суров*, например, существительное *суровство* “жестокость”: “Тръпяше соуровство оця, тя понужающа, Фесалоники прехвальная...” (1097 г.); “Онъ убо гневомъ и соуровствомъ мечъ приемлетъ” (XIV в.).

В более поздних списках с древнерусских памятников оно встречается в значении “необузданность, ярость”: “Яко и абие суровства Посидонска свободиша, рекше морьскаго, и таково кроткое земли Димитры обитати сотвори” (XV ~ XII вв.). Кроме того, И.И. Срезневский в своих Материалах для Словаря древнерусского языка приводил и такие значения существительного *суровство*, как “грубость”: “Бе некто чьрноризеца., яже плъти въздержание стяжа, соуровства же языка и празднословия не остаъ” (1296 г.); “упорство”: “Соуровствъмъ не елико рещи, тяжии оног(о) и лющии”. Там же отмечены наречия *суровно* “сурово, жестоко”: “Съмьрти же люети соуровно лъстыць предаль

есть” (1097 г.), а также *сурово*, которое встретилось в более поздних списках с древнейших текстов: “Оружиемъ грады и села пленовати начаша соурово (аgrios)”. И.И. Срезневский приводил и наречие *сурове* “строга”: “Пак(ы) реша просто и сурове разумевающе книжная слова” (XIV в.).

Опираясь на значения производных, можно предположить, что *суровь* (*суровый*) также означало “строгий”, “дикий”, “грубый”, “упорный”.

В то же время прилагательное *сырой* не употреблялось в этих значениях. Тем не менее одно слово с корнем *-сыр-* заставляет предположить, что в древности *сырой* могло означать и “жестокий”. Так, слово *сырорезание*, отмеченное в Успенском сборнике, в Сказании о Борисе и Глебе, когда юный Глеб обращается к своим убийцам с мольбой о пощаде: “Помилуйте уности моя... Азь, братие, и зълбиемъ и въздрастъмъ еще младенствую, се несть оубиство, нъ сырорезание”. Этому слову в греческом могло бы соответствовать словосочетание *ото-томео*, которое в Словаре Лиддела-Скотта толкуется как вскрытие незрелого гнойника (*ото-томео – cut an abscess before it is ripe or fully purulent*. A Greek-English Lexicon by H. Liddell and R. Scott (1811–1887). Т. II). Следовательно, слово *сырорезание* могло означать особенно жестокое, бессмысленное убийство еще не созревшего, совсем юного человека, что подтверждают и сравнения в контексте с незрелым колосом, не выросшей лозой: “Не пожнете мене отъ жития не съзрела, не пожнете класа не уже съзрѣвъша.., не порежете лозы не до коньца въздрастъша”. Это значение – “особенно жестокое” – передавалось прилагательным *сыръ*. Позже, в Книге степенной царского родословия встречается словосочетание *сурово резание*: “И за чьто немилостивью убийство подвижете на мя и сурово резание содеваете?” (XVI–XVII вв. ~ 1560 гг.). Но древнерусские памятники не свидетельствуют о том, что прилагательное *сыръ* (*сырой*) сохранило в XI–XIV веках значение “особенно жестокий”. По-видимому, оно было утрачено еще в дописьменный период.

Итак, несмотря на определенные отличия в семантике, слова *сыръ* и *суровь* в памятниках XI–XIV веков были весьма близкими по значению. На связь этих слов указывает и этимология: у них обнаруживаются общие родственные слова в других индоевропейских языках, например, в древнеисландском *saurr* “сырая земля”, *surr* “кислый”, в албанском *hirre* “сыворотка” (Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1986. Т. III.).

Современные славянские языки сохранили оба этих прилагательных, например, в чешском языке *surouy* “суровый, грубый, сырой, необработанный”; *syuy* “сырой, необработанный, невареный; незрелый; влажный”. В некоторых славянских языках значения слов *сырой* и *суровый* совмещаются в одном прилагательном *суровый*. В болгарском

языке *суров* “сырой, влажный; недопеченный; жесткий, свежий, сочный”; в польском *surowy* “суровый”, а также “невареный, необработанный, влажный” (корень *-sur-* сохраняется только в слове *syrojadek* “сыроежка (гриб)”); в словацком языке есть прилагательное *surový*, означающее “суровый, жесткий”, в лужицком *surowy* “сырой, невареный, суровый”, в верхнелужицком и нижнелужицком *surowy* “сырой, невареный; суровый, строгий”.

Кроме того, в славянских языках сохраняется прилагательное *сыровъ*, например, в чешском *surový* “сырой, необработанный, невареный, незрелый” (Чешско-русский словарь под ред. П.Г. Богатырева. М., 1947). Оно почти полностью совпадает по значению с прилагательным *сугу*, которое имеет и значение “влажный”.

Из всего сказанного можно предположить, что в глубокой древности корень *-сыр-* (а также *-сур-*, в котором представлена другая ступень чередования гласных) был связан с понятием природы, жизни, воды. Он означал “находящийся в природном состоянии”. Это значение было очень широким – это и живой, и влажный, и необработанный, и дикий, необузданный, и жестокий, как природа. Позднее значения “дикий”, “необузданный”, “жестокий” выделились семантически и формально с помощью суффикса *-ов-*, что могло сопровождаться чередованием в корне. Представляется, что уже к XI веку значения “влажный, сырой”, “живой, зеленый” закрепились за прилагательным *сыръ*, а за прилагательным *суровъ* – “жестокий, свирепый”, “дикий, необузданный”, “грубый”, “строгий”, хотя в церковных текстах оно продолжает переписываться по традиции в своих древнейших значениях.

О том, что *суровый* “влажный”, “живой, зеленый”, вероятно, уже не использовалось в разговорном языке XI–XIV веков в отличие от прилагательного *сырой*, говорит более широкая сочетаемость последнего, а также значительное количество производных от него слов в древнерусских памятниках XI–XIV веков, в которых отражаются эти значения. Например, глагол *сырети* “свежить, молодеть”: “Сердцу же веселящуся, лице сырееть”. Или глагол *осырети* “ожить, наполниться соками (о растениях)”: “И древета еже секуще зиме измерзают и весне осыревшие истачают сокъ” (1477 ~ XIII в.).

В то же время в древнерусских текстах не встречается производных слов от прилагательного *суровъ* “влажный, сырой”, “зеленый, живой”. Но зато встречаются производные от него в значении “жестокий, свирепый”. И, как было видно из примеров, в этом значении, в отличие от других, *суровый* имело свободную сочетаемость: “суровеишем Вавилоняномъ”; “въльцехъ соуровныхъ”; “суровый образъ”, то есть было вполне живым и употребительным в языке.

И только одно значение, по-видимому, было для них общим в XI–XIV веках – “сырой, не готовый”.

Позже, в XV–XVII веках *сырой* сохраняет значение “влажный, сы-

рой”: “Ниву сырую советуют трожды или четырежды переорывати” (XVI в.).

В текстах XV–XVII веков появляется много слов, производных от прилагательного *сырой* в значении “сырой, влажный”. Многие, несомненно, существовали и раньше в крестьянском обиходе. Например, прилагательное *сыромолотный*, означающее “непросушенный до молотбы”. Или глагол *отсырети* в значении “отсыреть, стать влажным”. Существительное *сырникъ* означало “сырые дрова”. С тем же значением встречается существительное *сырье*: “Купил... дровъ десять возъ сырья” (1613 г.). Хотя это слово, возможно, могло употребляться не только для обозначения сырых дров, но для любого сырого товара.

Прилагательное *сырой* сохраняет значение “находящийся в природном состоянии, не подвергавшийся обработке”. Как и ранее, оно употребляется применительно к продуктам питания: “Земля Сибирь нарицаемая, зверообразныхъ и дикихъ людей... ядятъ кровавое и сырое” (1670 г.). В текстах XV–XVII веков в том же значении “находящийся в природном состоянии, необработанный” оно может употребляться применительно не только к еде, но и к материалам: “Кож купил сырых на полтора рубли...” (1578 г.); “И Кубаско... с того болота привез железной руды жженой и сырой” (1628 г.). Что касается еды, *сырой* может означать теперь и “не до конца готовый: недопеченный, недovarенный”: “А бол(ь)ши пражное тесто или колачъ с верху тол(ь)ко припеклый от исподу, а в середку сырыи, любо таково ж лепешка печеная добре вредить” (XVI в.).

Прилагательное *сырой* “сырой, не готовый или готовый не до конца” явился производящей основой для профессиональных терминов, которые встречаются в текстах XV–XVII веков, а появились они, вероятно, с возникновением производства этих продуктов. Например, существительное *сырецъ*, означавшее еще не до конца готовый продукт: “А товары в Шамахе всякие, и шолков много крашеного и сырцу” (Вт. пол. XVII в. ~ 1623–1624 гг.). Прилагательное *сырцовый* означало “не до конца выделанный продукт”: “Две бочки топленой смолы, два мерника смолы сырцовой” (1626–1701 гг.).

Кроме того, от этого лексико-семантического варианта образуются микрогнезда, связанные с определенными профессиями, например, с производством сыромятных кож. Для обозначения таких кож употреблялось существительное *сыромьять*: “Да кол(ь)цо ломаное железное, сыромьять делаютъ, да гвоздей тысяча и полтретьяцать гвоздей тесовыхъ” (1551); “Сыромьятникъ... делаютъ сыромьяти” (XVIII в. ~ XVII в.). Оно же означало и способ выделки этих кож, когда кожу сначала вымачивают, а потом сушат и мнут, чтобы смягчить, но не дубят. Существительное *сыромьятникъ* означало ремесленника, который выделывает такие кожи: “Двор Федька сыромьятника” (1540). Прилагательное *сыромьятный* могло означать “относящийся к выделке сыромятных

кож”: “Купить кож на сыроматное дело” (1635–1636 гг.) или “вымоченный в воде и после высушки смягченный мятьём (о коже)”: “Отъ дву кожъ отъ сыроматныхъ от дела дано девять алтынъ безъ дву денегъ” (1591–1600 гг.).

В XV–XVII веках *сырой* сохраняет и значение “зеленый, живой”. В то же время производные от прилагательного *сырой* “живой, зеленый” уже не встречаются, что может свидетельствовать о постепенной утрате этого значения. В современном русском языке оно не сохранилось, о нем напоминают только фразеологизмы, например, *сыр-бор разгорелся*, т.е. *зеленый бор*.

Прилагательное *суровый* в XV–XVII веках сохраняет свое значение “жестокий”. Оно передается и его производным, например, наречию *сурово* “жестоко”: “В той церкви строго сурово и нечеловечно оубиша” (XV в.); “Аще убо оружие украдет, сурово повелеваемъ бити я” (XVI в.). Существительное *суровство* “жестокость” встречается в текстах XV–XVII веков “Первая убо есть злоба сие суровство, безъчеловечества премоножество имущее” (XVI в.).

В церковных текстах XV–XVII веков встречается глагол *суровствовати* “проявлять жестокость”: “Достояше убо, о, царю, еже о нас твое толикое належание исперва изрещи, а не толико на ны со гневом суровствовати” (XVI в.).

Отголоски значения “жестокий, свирепый” сохраняются в современном русском языке в словосочетаниях *суровая природа*, *суровая зима*.

В XV–XVII веках *суровый* “сырой, не готовый” по-прежнему встречается в церковных текстах в словосочетании *суровое зелье* – “сырые, свежие овощи”: “В великий постъ... в среду ямы сухоядение и сурово зелье” (1648–1649 гг.). Однако в разговорной речи применительно к еде, к продуктам питания оно уже не было понятно и поэтому нуждалось в толковании: “Зелье сурово репа, морковь, огурцы, ретка; сурово же глаголется еже есть не варено” (XVII в.).

В бытовых же текстах XV–XVII веков *суровый* “не обработанный” или “грубый, обработанный не до конца” встречается применительно к текстильным материалам: “10 холстов суровых, 6 холстов красильных” (1694).

Прилагательное *суровый* “влажный, сырой” и “зеленый, живой” продолжает, как и ранее, употребляться в церковных текстах XV–XVII веков: “По семь биша ю ремениемъ суровым по лядовемъ и по чреву” (XV в.); “Испытав же известно, судиа... суровыми жилами говяжьими повеле болярина оного бити” (1512 г.). Но, по-видимому, это была только дань традиции, характерная для церковных книг, что связано и с переписыванием одних и тех же текстов. Это обусловило сохранение прилагательного *суровый* “влажный, сырой”, “зеленый, живой” в поздних памятниках письменности. Но в разговорной речи в этом значении оно, вероятно, уже не было употребительно.

В то же время в старорусских текстах XV–XVII веков прилагательное *суровый* могло означать “рьяный, быстрый”: “Хождение же велми помалу ни лениво, яко ж раслабление дивно являти, ни борзо ж, ни сурово – яко ж неистовная еа стремления являти” (XVI в.).

Это значение проявлялось и в наречии *сурово* “быстро, напористо, дерзко”: “Стратигомъ же всемъ с немшимся съ Зустуниемъ нападаху на Туркы сурово, и възвратиша ихъ до стены” (XV в. [1453]).

Следы этого значения встречаются и в русских диалектах. Так, в “Толковом словаре живого великорусского языка” В.И. Даля: *суровый* “резвый, шаловливый, своевольный; бойкий, дикий или бешеный” (в северных и сибирских говорах), *суровиться* “горячиться, торопиться” (там же), *суровливый* (парнишка) “бойкий, резвый” (владимирские говоры).

В современном же значении “лишенный мягкости, строгий, без снисхождения” *суровый* встречается в памятниках письменности позже XVII века, хотя, по-видимому, уже и в XVII веке оно его имело. Об этом косвенно свидетельствуют значения наречия *сурово* “сурово, строго”: «Слышав сие, наставник рече ему сурово: “Иди и молчи!”» (XVII в.) и существительного *суровство* “суровость, надменность” “Прост человек быше и последний поселянинъ... И себе же домъ созда... яко же княжеский... и трапеза его многа драгаго брашьна... исполнена... И тако... отъ препростия въ суровство пременяся” (XVI–XVII вв. ~ 1560 г.).



Новгородское слово в Ширазе XV века

И.Г. ДОБРОДОМОВ,
доктор филологических наук

24 июля 1438 года из южноиранского города Шираза выехал по своим торговым делам купец Ходжа Шамс ад-Дин Мухаммад с товарами. Три года спустя отчет об этой торговой поездке попал в энциклопедическое сочинение “Шамс ас-сийак” (“Солнце науки ведения счетных книг”), составленное в Герате неким Али ибн Мухаммадом ал-Куми (или аш-Ширази). На эту рукопись, хранящуюся в стамбульской библиотеке Айя-София, обратили внимание востоковеды: немецкий – Вальтер Хинц и советский – Борис Николаевич Заходер (Hinz W. Eine orientalische Handelsunternehmung im 15. Jahrhundert // Die Welt des Orients. Stuttgart, 1949, № 4; Заходер Б.Н. Ширазский купец на Поволжье в 1438 г. // Каспийский свод сведений о Восточной Европе. М., 1967. Т. II).

В весьма интересном отчете ширазского купца особое внимание обращает на себя мера русского полотна: его было куплено 10 *лубубов* стоимостью 20 сомов за каждый *лубуб*; всего на сумму 200 сомов.

Лубуб как единица измерения тканей неизвестна ни в восточной, ни в русской метрологии (Хинц В. Мусульманские меры и веса с переводом в метрическую систему. М., 1970; Каменцева Е.И., Устюгов Н.В. Русская метрология. М., 1975. М., Изд. 2-е). Смелую попытку выяснить содержание этого слова предпринял Б.Н. Заходер.

О знакомстве Востока с русским полотном известно из многих источников: “у славян и русов одежда из льна” (Худуд ал-алем. Рукопись Туманского с введением и указателем В. Бартольда. Л., 1930; Hudūd al-‘Alam. The Regions of the World. A. Persian Geography 327 A.H. – 982 A.D. Translated and explained by V. Minorsky (-GMS, NS, vol. X). London, 1937; Бартольд В. Отчет о поездке в Среднюю Азию с научной целью

1893–1894 гг. // Записки импер. Академии наук, VIII серия по историко-филологическому отделению. СПб., 1897, Т. I). Русское полотно упоминается и у ал-Омари как один из видов экспорта в Индию. «Отчет же ширазского купца вносит нечто новое в наши знания об этой широко распространенной торговле русским полотном; мера, которой измерялось полотно в Сарае, названа в отчете *лубуб*, в переводе издателя текста документа [Вальтера Хинца] – “тюки”, “Ballen”; каждый такой тюк оценивался в 20 сомов. Слово *лубуб* – мн[ожественное] ч[исло] от *лубб* – означает в арабском языке “сердцевина”, “лучшая часть” и никакого отношения к метрологии не имеет. Это арабизированное *лубуб* весьма сходно по звучанию с русским *луб*, которое, кроме всем известных значений “слой древесной коры”, “лыко” имеет и следующее специальное значение “волокна конопли, льна, крапивы, употребляемые для выделки пряжи” (Толковый словарь русского языка. Под ред. Д.Н. Ушакова. М., 1938, т. II). Не напоминает ли это также лубяную тару, лубянку? Нам представляется, что имеется достаточно оснований под упомянутым в отчете ширазского купца нумеративом видеть не арабское, а более или менее искаженное, как это обычно бывает в передаче арабской графики, русское слово» (Заходер Б.Н. Каспийский свод сведений о Восточной Европе. М., 1967. Т. II). В другом месте этой же книги Б.Н. Заходер обращает внимание на разные начертания слова для названия ткани у славян и русов.

Б.Н. Заходер (1898–1960) не располагал доказательным русским словарным материалом, необходимым для подтверждения своей остроумной гипотезы о метрологическом значении русского слова *луб*, возникшем из обозначения тары для товара. Такой материал не попал в поле его зрения.

А между тем в “Материалах для Словаря древнерусского языка” И.И. Срезневского (СПб., 1895. Т. I) содержится небольшой материал по употреблению слова *лубъ* в качестве обозначения “лубяного короба” и “определенной меры” (применительно к соли), причем *луб* входил в систему мер, которые, вероятно, имели разную территориальную приуроченность, например: “⟨...⟩ кто купить, мехъ соли, или кадь соли ⟨...⟩ или рогозину соли, или лубъ соли, или пошев соли ⟨...⟩ безъ весу, на два рубля ⟨...⟩ ино съ нихъ заповеди два рубля, рубль на продавце, а другой на купце...” (Таможенная Весьегонская грамота 1563 г. Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Археографическою экспедицией имп. Академии наук. Т. I: 1294–1598. СПб., 1836).

Смелые этимологические соображения Б.Н. Заходера получили некоторую поддержку, когда Новгородской археологической экспедицией под руководством А.Ф. Медведева (1969–1970) в Старой Руссе была обнаружена берестяная грамота. Хронологически она относится (по стратиграфическим соображениям археологов) к первой четверти XV века, т.е. весьма близка по времени к отчету ширазского купца.

В этой берестяной грамоте дважды упоминается *лубъ* в качестве обозначения крупной меры соли: “а прося(т) zde(сь) соли по семи лубовъ за рубль, а наши хотя(т) давать, а на д(е)нь ни луба ни продать” (Арциховский А.В., Янин В.Л. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1962–1976 гг.). М., 1978; Зализняк А.А. Древненовгородский диалект. М., 1995). “Словарь русского языка XI–XVII вв.” приводит еще одну цитату из “Копий царских грамот 1547–1598 гг.”: Покупали де они в Русе на год пс осмидесять лубов соли” (М., 1981. Вып. 8. Далее СлРЯ XI–XII вв.).

На основании этих старорусских текстов, где речь идет о мерах соли, “СлРЯ XI–XVII вв.” смело формулирует слишком широкое значение: “Лубяной короб как тара и мера для сыпучих и влажных [?] продуктов”, ставя его на второй план после значения “Короб из луба” на основании единственной поздней цитаты из рукописной “Приходо-расходной книги Иверского Валдайского монастыря 1668–1669 гг.”: “Куплено дватцат четыре луба в чом яблока весть в Ыверской м(о)н(а)ст(ы)рь”.

На основании одного документа 1639 года от солеваров Старой Руссы специалисты по русской исторической метрологии установили, что в лубе вмещалось 5 пудов соли: “А в лубе соли весом 5 пуд” (Каменцева, Устюгов. Указ. соч.).

Позже такое же метрологическое содержание скрывалось и за уменьшительной по происхождению формой *лубокъ* в “Таможенных книгах Успенского Тихвинского монастыря XVII века”: “Лубокъ икры весу пять пудъ” (СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 8).

Как видно из приведенных примеров, употребление существительного *лубъ* в качестве обозначения тары и соотносимой с ней метрологической единицы существовало исключительно на новгородской территории (Старая Русса, Валдай, Тихвин), поэтому на смежных территориях иногда вставал вопрос о соотношении новгородского *луба* с принятыми там другими мерами.

Аналогичная мера на других русских территориях именовалась *пошевь* (наряду с *рогозина*, *рогожа*, *мехъ*), например: “а съ пошеву соли Рускя съ луба имат тамгу и весу и узолцового по три московки, по старине” (Таможенная уставная грамота 1571 г., данная по наказу царя Иоанна Васильевича боярину и новгородскому наместнику Петру Даниловичу Пронскому, Алексею Михайловичу Старому и дьяку Семену Федоровичу Мишуруну, о взимании в Великом Новгороде на Торговой стороне, в Государевой опришне, всяких пошлин // Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в Государственной Коллегии иностранных дел. М., 1819. Ч. II).

В царской жалованной грамоте Василия Ивановича Шуйского от 24 июня 1610 года Борисоглебскому монастырю в Торжке на владение монастырскою отчиною, пашнею, мельницами и лугами по прежним

жалованным грамотам *три луба соли* приравнивались *одной рогоже*: “рогожа соли, или противу рогожи три луба соли” или же “рогожа соли, или три луба соли”, в связи с чем и определялся характер пошлин: “а съ лубовыя соли имати съ трехъ лубовъ, противъ подъему, по чetyре денги съ луба” (Акты собранные... 1598–1615. Т. 2).

В качестве мер для соли на разных территориях Русского централизованного государства конца XV – начала XVII вв., кроме старорусского (новгородского) *луба*, употреблялись: *сапца* (пермск.), *пуз* (двинск.), *рогожа* или *рогозина*, *мех*, *пошев*, *лукно*, соотношения между которыми не всегда ясны, и некоторым из них метрологи, едва ли основательно, отказывают в метрологической значимости, считая их просто обозначениями тары (*рогожа*, *мех*). В течение XVII века все эти местные соляные меры выходят из употребления, поскольку соль стала продаваться на вес, но некоторое время для соли объемное и весовое измерения сосуществовали (Каменцева, Устюгов. Указ. соч.). Этот процесс замены объемных мер для сыпучих веществ весовыми заслуживает специального рассмотрения.

Термин *лубъ* применительно к таре для тканей и единицы их измерений при оптовой продаже в русских текстах пока не обнаружен, но *лубовой короб* для ткани упоминается в 1694 году в “Книге расходной Холмогорского архиерейского дома 1694–1695 гг.” (Рукоп. ЛОИИ, к. 11, № 107, л. 29): “Под вышеписанные крашенины куплень короб лубовой десять денег дано” (СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 8).

Этот пример следует рассматривать как еще один шаг к подтверждению весьма остроумной гипотезы Б.Н. Заходера о связи загадочной меры тканей *лубуб* у ширазского купца ходжи Шамс ад-Дина Мухаммада с русским словом *лубъ*. Все старые русские текстовые примеры метрологического употребления названия *лубъ* связаны с новгородскими территориями. Именно такие новгородские употребления термина *лубъ* помогли объяснить термин *лубуб* из отчета ширазского купца в духе соображений Б.Н. Заходера.

Из истории политического лексикона XX века

Слова с приставкой *анти-*, *противо-* в эмигрантской публицистике

А.В. ЗЕЛЕНИН,

кандидат филологических наук

Префикс *анти-* известен в русском языке со времен крещения Руси, когда в язык вошли сложные слова из греческого, преимущественно религиозной тематики: *антиминс* и *антимис* (ткань на престоле в алтаре с частицами мощей, с изображением погребения Иисуса Христа), *антипасха* (неделя, следующая за пасхой), *антифон* и *антифона* (стих из псалмов, исполняемый на обоих клиросах во время службы), *антихрист*, *антихристов*; с XVII века – *антидор* и *антидора*, *антидорный* (часть просфоры). Однако в древнерусском языке данный префикс функционировал только в составе этих слов, не вычленяясь из них и не вступая в русскую словообразовательную систему.

Во второй раз эта приставка оказалась заимствованной русским языком в конце XVII – начале XVIII века, когда из европейских языков в русский хлынул поток образований с данной морфемой, преимущественно из французского языка. Приведем только некоторые из них (в написании XVIII в.): *анти-англичане*, *анти-апоплексический*, *антиконституциональный*, *антимаккиавелист*, *антимеценат*, *антимонархический*, *антипатриотический*, *антипатия*, *антиподы*, *антитеза*, *антифизический*, *антифилософический*, *антихристиане*, *антихристианский*, *анти-якобинский*, *анти-ясенизм*, *антикамера* и др. В сравнении с древнерусским языком слова с приставкой *анти-* в XVIII веке сфокусированы в основном в сфере общественных отношений (особенно социально-политических), науки, публицистики; названий религиозной тематики мало. Популярность и частотность элемента *анти* была столь высока, что в языке XVIII века наиболее образованные пытались даже заменять им русский предлог *против*: “Можно ли так думать, читая журнал Карамзина, который совсем анти того, что разумеют мартинизмом” (Барсков Я.Л. Переписка московских маонов XVIII в. 1780–1792 гг. Пг., 1915).

Первая половина XIX века пополняет список обозначений с *анти-*: *антикритика*, *антикритичный*, *антикритический*, *антикритик*, *антипат*, *антифлогистический*, *антипатия* (антипатия), *антипоэзия*

(у Жуковского), *антигерой* (у Достоевского) и др. Все это подготовило почву для того, чтобы, наконец, внести префикс как отдельную толкуемую словарную единицу в “Настольный словарь для справок по всем отраслям знания” (под ред. Ф. Толля и В. Зотова. Т. 1–3. СПб., 1863–1864).

После покушения на Александра Второго в 1881 году, когда вся вина пала на евреев, в языке появились обозначения *антисемин* (в тогдашнем написании: *антисимит*), *антисемитский* (*антисимитский*), *антисемитизм* (*антисимитизм*). Использование приставки *анти-* не только с иноязычными, но и с обрусевшими, и русскими словами позволило ей занять свое место среди словообразовательных ресурсов русского языка. В стилистическом отношении она сохраняла налет книжности, свойственной научному и публицистическому стилям речи. “Полный русский орфографический словарь” П.А. Ромашкевича (5 изд. С дополнениями и исправлениями А.А. Быкова. СПб., 1895) содержит, не включая имена собственные, около 20 существительных и прилагательных с элементом *анти-*, вошедших в литературный язык.

Революционные и послереволюционные годы дали новый импульс для активизации данного префикса. А.М. Селищев приводил следующие лексемы: *антибольшевистский*, *антидемократизм*, *антидемократический*, *антижорестский*, *антилиберальный*, *антиликвидатор*, *антиликвидаторство*, *антинародный*, *антиоборонческий*, *антирелигиозный*, *антирелигиозник*, *антисниженец* (противник снижения цен), *антисоветский*, *антисоглашательский*, *антистачечный* (Язык революционной эпохи: Из наблюдений над русским языком последних лет (1917–1926). М., 1928). Ср. также неологизм с префиксом *анти-* у Ленина: *антибисмаркизм*. Авторы монографии “Русский язык и советское общество. Словообразование современного русского литературного языка” (М., 1966) добавляют к этому списку другие слова, появившиеся и встречающиеся в разных стилях языка в 20-е годы: *антигуманизм*, *антидарвинизм*, *антииндустриализм*, *антиинтеллектуализм*, *антимарксизм*, *антимеханизаторы* (противники механизации), *антиимпериалисты*, *антимилитаристы* (противники милитаризма), *антицветаевец* (термин А. Блока по отношению к поэзии М. Цветаевой), *антифутуризм*, *антиэстетизм*, *антианглийский*, *антифранцузский*, *антипольский*, *антирождественский*, *антиколхозный*, *антипролетарский*, *антитуберкулезный*, *антидогматический* и т.п. Активность *анти-* в послереволюционной прессе вполне понятна, так как присоединение этой приставки позволяло резко противопоставить по идеологическому признаку понятия как старым, существовавшим до революции, так и возникающим в потоке жизни. Так осуществлялось мощное пополнение словаря языка новыми образованиями.

Многие обозначения революционной эпохи с *анти-* называют понятия, связанные с социальной и политической действительностью; науч-

ная терминология оказывается тесно вплетенной в общественный дискурс (*антидарвинизм, антигуманизм* и под.). Ясно также и употребление префикса *анти-* в футуристической поэзии и других литературных направлениях как стремление отразить полярность, разорванность бытия с его прямолинейностью оценок и черно-белым мировидением.

Вторая группа слов с префиксом *анти-* связана с научной сферой (в особенности с физикой, химией, медициной); интернациональная терминология при помощи прямого заимствования или калькирования проникает в разные страны. Уже в 20-е годы XX века в русском языке зафиксированы обозначения: *античастица, антимирры, антипротон, антинейтрон, антипод* (в переосмысленном значении) и некот. др. В дальнейшем их становится все больше.

Общая тенденция в русском языке очевидна, префикс *анти-* расширяет как зону сочетания с существительными (политические партии, течения, наука, искусство, бытовая лексика), так и стилистические квалификации (не только книжный и публицистический стили, но и разговорно-бытовой).

На этом фоне – лексическом и словообразовательном – интересно представить модели слов с тем же префиксом, распространенных в эмигрантской публицистике 20–30 годов XX века. Нам не встретилось употребления префикса *анти-* с научной лексикой; почти все контексты сосредоточены на обозначении общественных понятий. Практически все слова с данной приставкой можно было бы встретить в советской прессе, однако – в отличие от нее – образования с *анти-* часто несут иной прагматический заряд, поскольку оценка самих понятий, обозначающих идеологические реалии, отлична от советского дискурса.

Среди образований с префиксом *анти-* встречаются прилагательные (их абсолютное большинство) и существительные. Значение приставки *анти-* вполне отчетливо: “направленный, выступающий против” + исходное понятие. При этом нельзя не упомянуть о русском префиксе *противо-*, который имеет то же значение (по крайней мере, словарники не могут обойтись при толковании префикса *анти-* без слова *против*). При схожести значений они имеют разную глубину в истории русского языка, порой разные стилистические характеристики.

При заимствовании иностранного префикса *анти-* омонимия с префиксом *против-* уже с начала XIX века в языке стала преодолеваться расхождением их в значениях и сфере употребления: русский префикс стал пониматься более конкретно и с измененным значением – “средство борьбы с чем-либо” (Земская Е.А. Как делаются слова. М., 1963). В зоне грамматического значения приставки *противо-*, ранее охватывающей как обозначение лица, так и не-лица, первый элемент затухает, передавая свою словообразовательную силу префиксу *анти-*, например у Даля употребление данной приставки в словах, где она имеет значение лица: *противоборец, противоборица, противоборник, про-*

тивоборница, противоборствователь, противодейтель. Такие обозначения идут в русском языке явно на спад, воспринимаясь искусственными или стилистически высокими. Стилистически окрашенными становятся *противоборствовать, противоборство, противодействие, противодействовать, противозаконие, противозаконно, противозаконность, противозаконный, противопологать, противоположаться, противоположение, противоположенный, противоположить, противоположиться, противоположность, противоречие, противоядие, противоядный* (все примеры взяты из “Полного русского орфографического словаря” П.А. Ромашкевича. СПб., 1895).

Русский префикс *противо-* был слишком “семантически”, наполнен смыслом в сравнении с приставкой *анти-*, более “грамматической” по значению ввиду своего заимствованного характера. Стилистические перемещения в русском языке большого разряда слов с префиксом *противо-* при одновременном сужении его значения и сферы производности вызвали активизацию иноязычной приставки *анти-* в качестве компенсирующего словообразовательного средства.

Явное затухание префикса *противо-* при соединении со словами, обозначающими политические понятия и одновременном увеличении количества лексем с предметным значением (типа *противоаэропланый, противобололевой, противоглистный, противозачаточный, противотанковый* и т.п.; происходит даже сближение с одним из значений предлога *от* – “против чего-н., для избежания чего-н., для избавления от чего-н.” – Словарь Ушакова. Т. 2). В нем упомянуто только одно слово: *противоправительственный* с пометой “книжн(ое)” (Т. 3).

Эмигрантская публицистика использует приставку *противо-* при образовании слов с политической семантикой намного шире. По-видимому, это можно объяснить несколькими причинами: сохранением в речи эмигрантов старых, дореволюционных словообразовательных моделей; попыткой перевода иностранного префикса *анти-* русским *противо-*, продиктованной отчасти пуристическими мотивами; семантической наполненностью русского префикса, придающей слову большой смысловой “вес”, сообщающий лексеме большую убедительность и несущий прагматическую функцию воздействия на читателя. Нами зафиксированы редкие случаи употребления префикса *противо-* в предметном (орудийном) значении в составе терминологических сочетаний *противогазовая маска* и *противовоздушная оборона*.

В эмигрантских изданиях можно найти практически равноправное сосуществование слов *антианархический* и *противоанархический, антиреволюционный* и *противореволюционный; антибольшевистский* и *противобольшевистский; антибольшевицкий* и *противобольшевицкий; антибольшевик* и *противобольшевик; антивоенный* и *противовоенный, антимилитаристский* и *противомилитаристский*: “Конечно, и в продолжение войны встречались среди немецких рабо-

чих отдельные личности, ведущие противвоенную и противомилитаристскую пропаганду” (Анархич. вестник. 1923. № 5–6); *антигосударственный и противогосударственный*: “В свое время за ряд статей противогосударственного содержания Борис Тиккар был приговорен к 3 годам тюрьмы” (Сегодня. 1930. 10 янв.); *антикоммунистический и противокоммунистический*: “По-прежнему видим мы необходимое условие победы Русского дела в Едином Общерусском Национальном противокоммунистическом фронте” (Русская правда. 1925. июль–авг.); *антисоветский и противосоветский*: “... в казармах найдена нелегальная противосоветская литература. (...) Противосоветская литература широко проникает в красные казармы” (Голос России. 1931. 2 авг.).

Кроме таких пар-соответствий, есть и одиночные образования: *противокрасный*: “Низовой противокрасный террор на Дону, на Кубани, на Сев[ерном] Кавказе, в Черноморье” (Голос России. 1931. 1 сент.); *противопомещичий*: «Никакой “традиции”» ленинской ведь и нет: была демагогия – сначала противопомещичья, купно эсеровско-большевицкая, а потом была ставка на деревенский люмпен-пролетариат против крестьянской массы. Вот и вся “традиция”» (За свободу. 1925. 4 янв.).

Таким образом, функционирование префиксов *анти-* и *противо-* в эмигрантской публицистике оказывается связанным с действием нескольких факторов. В языке советского времени наблюдалась явная тенденция к перераспределению грамматических функций данных префиксов, в эмигрантском языке этот процесс проходил более замедленно, не так очевидно и быстро, сопровождался дублетностью, от которой русский язык в Советской России уже освободился. Это обуславливалось большей степенью унификации и стандартизации “советского” языка, формируемой централизованностью средств массовой информации, нежели языка эмигрантов, раздробленного по разным странам и городам, партийным изданиям и политическим группам. Им приходилось соотносить узус со своими старыми представлениями о русском языке (еще с дореволюционных времен и первых революционных лет), другими эмигрантскими изданиями и частично с советскими газетами. Такая мозаичность и определяла выбор языковых средств для эмигрантского публициста.

Санкт-Петербург



СОЛОВКИ

А.Л. ШИЛОВ,
доктор химических наук

*Уже на западе восточными лучами
Открылся, освещен, с высокими верхами
Пречудных стен округ из дивных камней град...*

М.В. Ломоносов. Петр Великий

Соловецкие острова, в просторечье *Соловки* – архипелаг в Белом море, включающий Большой Соловецкий остров, острова Муксалма, Анзер, Большой и Малый Заяцкие и множество мелких островков. Знамениты они, в первую очередь, своим монастырем, бывшим не только авторитетнейшим духовным центром и примером великолепно

организованного хозяйства в северных пустынях, но и несокрушимой для врагов военной твердыней. Впрочем, уже в XX веке монастырь снискал позорную известность как первый в стране концлагерь.

Название островов впервые встречается в жалованной грамоте 1468 года Соловецкому монастырю (Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.-Л., 1949): “с Соловчевъ с моря акианя... жаловале тыми острова Соловки, и островомъ Анзери и островомъ Нуксами [ныне Муксалма] и островом Заяцьимъ и малыми островкы”. В документе 1479 года названы “Соловки... и Нуксари остров” (Акты Соловецкого монастыря 1479–1571 гг. Л., 1988).

В документах тех же лет (1459–69) мы видим данные (дарственные) различных лиц на разные участки Поморья Соловецкому монастырю (следовательно, монастырь возник и окреп значительно ранее).

Согласно “Житию Зосимы и Савватия Соловецких”, созданному учеником Зосимы Досифеем около 1500 года, в 1429 году Савватий, бывший постриженник Кирилло-Белозерского монастыря, затем монах на Валааме, поселился на Соловках с монахом Германом. Монастырь же был основан Германом и преподобным Зосимой из Толвуи уже после смерти Савватия (Спиридонов А.М., Яровой О.Я. Валаам: от апостола Андрея до игумена Иннокентия. М., 1991). Н.М. Карамзин в Истории Государства Российского, опираясь на “Летописец Соловецкого монастыря” 1790 года, указывал, что Зосима пришел на Соловки с Аввою Германом в 1438 году (М., 1993. Т. 5). Первым игуменом Соловецким именуется Павел, вторым Феодосий, третьим Иона, и лишь четвертым – Зосима (с 1452 г.). Жалованную грамоту (уже цитированную) Зосима получил от архиепископа Ионы.

Но, конечно, Соловецкие острова были известны русским (новгородцам) намного раньше описываемых событий. Весьма вероятно, что о них (без указания названия) говорится в письме Новгородского епископа Василия епископу Тверскому Феодору (1347 г.): “Много тому видоков детей моих Новоградцев: на Дышущем (т.е. на Белом) море... место святого рая находил Моислав Новоградец и сын его Иаков, и всех их было три юмы (лодки), и едина, много блудив, погибла; а две принесло к высокому горам... и свет был самосиянен, и пребыша долго на месте том, а солнца не видеша, но свет бысть паче солнца [это описание северного сияния. – А.Ш.]” (Карамзин. Там же. Т. 4).

Имеется несколько версий происхождения названия *Соловки*. Так, М. Фасмер считал, что оно связано с *соловой* “желтовато-серый” или же *соловцы* “небольшие волны с белыми гребешками” (Этимологический словарь русского языка. М., 1971. Т. III). Другая версия гласит, что это название “произошло от слова соль, ведь монастырь занимался солеварением” (Гунн Т. Онега впадает в Белое море. М., 1968). Более серьезно выглядит рассмотрение вопроса у В.А. Никонова: «Возможно из западнофинских языков: *salo* “глухой безлюдный лес” или *salvos*

“сруб”, Веске упоминал по другому поводу эст. *salu* “остров”. У него же саам. *суоло* “остров» (Краткий топонимический словарь. М., 1966). В последнем по времени издания топонимическом словаре говорится: «в основе саам. *suolov* “остров”, т.е. *Соловки* это просто “островки”, так что, когда мы говорим *Соловецкие острова*, то получается “островецкие острова» (Поспелов Е.М. Географические названия мира. Топонимический словарь. М., 1998).

Действительно, саамское происхождение названия *Соловки* наиболее правдоподобно. Так, явно саамскими являются названия острова *Муксалма*, ранее *Нуксы* (саам. *нюхча*, *нюкч* “лебедь”), обрывистого мыса *Печак* (саам. *пиечке* “крутой”) и урочища *Реболда* (саам. *рибпалдте* “подболотье”) на Б. Соловецком о-ве и др. Даже русское по виду название низменных *Заячьих островов* (*Заячий остров* в ранних документах) может на поверку оказаться саамским – из *цоайес* “мелкий, невысокий” (не поддается пока расшифровке название о. *Анзер*, в некоторых документах – *Ванзеро*). На островах найдены и многочисленные археологические памятники, оставленные саамами, – каменные лабиринты и священные камни – сейды.

Вполне естественно, что саамы могли называть главный остров крупнейшего беломорского архипелага просто “Остров”. И не возникло бы вопросов, если бы в саамском действительно существовала форма *suolov*. Но ее нет, а есть лишь *suol*, *suolo* “остров”. Получается, что -в- в *Соловки* (*Соловец*) возникло уже на русской почве.

Конструкции с -овец- (где -ов- – суффикс прилагательного) типичны для старой русской топонимии, ср. *Дедовец*, *Бесовец*, *Березовец*, *Сосновец*, *Осиновец*, *Липовец*, *Коневец*, *Грязовец* и т.д. Но от какой русской основы могло образоваться *Соловец*, *Соловецкий*? А не существовало ли в древности русского заимствования из саамского: **сол(о)* “остров”, **солый*, **соловый* “островной”?

Это предположение не так уж фантастично, вспомним, хотя бы, утраченные ныне русскими говорами заимствования *пелда* “поле”, *мурда*, “бурелом”, *шубач* “осинник” (Матвеев А.К. Методы топонимического исследования. Свердловск, 1986), *карся* “узкий пролив (?)”, *пяндега* “стая рыб (?)”, *матка* “озерное дефиле, перешеек”, *масельга* “водораздельный хребет” (Shilov A.L. Place-name, geographic, and writing evidences and the ethymology of some Russian geographic terms // XX Congreso International de Ciencias Onomasticas. Santiago de Compostella, 1999), *лендома* “поднимаемый сетью улов рыбы” (Хелимский Е.А. Компаративистика, уралистика. М., 2000) и др. Как отмечает А.К. Матвеев, “имеются отдельные факты, подтверждающие положение о том, что некогда русскому населению были известны такие заимствованные апелляции, которые в настоящая время отмечаются только в топонимии”. Кстати, среди заимствований из финских диалектов М. Веске называл и русское *сало* “лес, бор; остров”, не отмеченное, правда, современны-

ми словарями (Славяно-финские культурные отношения по данным языка // Изв. Общества археологии, истории и этнографии при Казанском ун-те, Казань, 1890. Т. 8. Вып. 1).

И некоторые, хотя и немногочисленные, подтверждения этому находят. Так, в Писцовой книге по Кижскому погосту видим: “ловли в Великом Соломяни и около Танбиц-острова, от Танбец острова до Малого Солого Соломяни и в Варбо-островках и до Вегаруксы, да в Сенной губе и около Келко-острова” (Писцовые книги Обонежской пятины 1496 и 1563 гг. Л., 1930). Здесь *Малое Солое Соломя* – пролив между берегом и островами, в отличие от широкого пролива *Великое Соломя* (*соломя* “пролив” – древнее заимствование из прибалтийско-финских языков). Ср. и название деревни *Соловцы* на верхней Сити (пр. Мологи), расположенной на холме (острове) между рекой и заболачивающимся озером.

Если наша гипотеза верна, то наиболее вероятным видится такое развитие именований: сначала поморы (знающие слово *соло* “остров”) стали называть юго-западную часть Белого моря *Соловецким морем* (и это название известно) – за обилие там островов. Затем название (в форме *Соловки*) перешло на самый крупный морской архипелаг и, наконец, имя *Соловец* получил и главный остров архипелага.

А может, не стоит изобретать гипотетическое русское слово? Ведь по-саамски *Суол-ойвэ* означает “Остров-голова” или “Островная Голова”, что могло пониматься как “главный из островов”, или же “остров, как голова выступающий из моря”. Саамское *ойвэ* “голова, вершина” действительно употреблялось в названиях не только гор (здесь оно наиболее часто), но и морских островов, например острова *Кузова* – *Куз-ойвэ* “Еловые Головы” (острова известны по документам уже с середины XV в. – раньше Соловков).

Но, так или иначе, название Соловецких островов, судя по всему, в основе своей содержит простое саамское слово *suol* “остров”.



СОТВОРЕНИЕ СКАЗКИ

*В.Г. МАРАНЦМАН,
доктор педагогических наук*

Сказка как литературный жанр предполагает активное участие слушателя, читателя, рассказчика в её создании. Аранжировка сюжета происходит всякий раз заново и зависит от эпохи и личности, представляющей сказку. В этом смысле весьма характерна работа А.С. Пушкина над своими сказками, придававшая им современный и вечный смысл. Творческая лаборатория поэта наиболее откровенно показывает связь слова со смыслом, чувства с мироотношением, и потому необыкновенно поучительна. Работая в 1833 году над «Сказкой о мёртвой царевне и о семи богатырях», Пушкин использовал сюжет народной сказки, записанной им в михайловской ссылке:

«Царевна заблудилась в лесу. Находит дом пустой – убирает его.

Двенадцать братьев приезжают. “Ах, – говорят, – тут был кто-то – али мужчина, али женщина; коли мужчина, будь нам отец родной али брат названный; коли женщина, будь нам мать али сестра”... Сии братья враждуют с другими двенадцатью богатырями; уезжая, они оставляют сестре платок, сапог и шапку. “Если кровию нальются, то не жди нас”. – Приезжая назад, спят они сном богатырским. Первый раз – 12 дней, второй – 24, третий – 31. Противники приезжают и пируют. Она подносит им сонных капель... и проч. Мачеха её приходит в лес под видом нищенки – собаки ходят на цепях и не подпускают её. Она дарит царевне рубашку, которую та, надев, умирает. Братья хоронят её в гробнице, натянутой золотыми цепями к двум соснам. Царевич влюбляется в её труп, и проч.» (Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 10 т. Л., 1977. Т. III. С. 413; далее – только том и стр.).

Пушкинская сказка, опираясь на фольклорные традиции, оказывается необычайно широкой по смыслу и сложной по психологической насыщенности повествования. Найдя зерно сюжета в русской народной сказке, Пушкин создаёт предысторию жизни царевны у лесных братьев, мотивирует месть мачехи завистью к нежной красоте царевны и существенно изменяет ситуацию отношений царевны и её возлюбленного. В народной сказке “царевич влюбляется в труп”. В пушкинской сказке королевич Елисей – жених царевны, и любовь ведёт его на поиски пропавшей невесты, любовь, которая побеждает все козни мачехи и пробуждает царевну от вечного сна. Эта гуманистическая идея пушкинской сказки и многие сюжетные ходы родственны мифу об Амуре и Психее, изложенному в 4-й книге “Метаморфоз” Апулея, которые Пушкин, несомненно, знал ещё “в садах Лицея”.

В мифе Пушкина особенно привлекал мотив зависти Венеры к красоте Психеи и пробуждения от сна любовью. Разумеется, Пушкин не прямо следует мифу, как не прямо подчиняется народной сказке. Мотив поиска возлюбленного, испытаний, обращения к силам природы в мифе дан Психее, в пушкинской сказке – Елисею. Царевна в сказке Пушкина не наделена любопытством Психеи, как не наделена и способностью героини народной сказки подлить врагам сонных капель. Миф и народная сказка резче и драматичнее по сюжету, царевна в пушкинской сказке идеальнее, чем в них. Пушкин, объединяя греческий миф и русскую сказку, создаёт иное по характеру произведение, обладающее во многом новым смыслом.

Сказка Пушкина уже в самом заглавии побуждает читателя задуматься над вопросом, почему же царевну не спасли семь богатырей? Соседство в заглавии слов “мёртвая царевна” и “семь богатырей” поражает внутренним диссонансом. Причём диссонанс этот подчёркнуто резок. Ведь Пушкин мог сказать “о спящей царевне” “и тут бы, право, не солгал”, говоря его же словом (“Евгений Онегин”). Но сказано жёстко: “О мёртвой царевне”.

Почему же при таких сильных защитниках царевна мертва? Какие силы в сказке пытаются ей помочь и какие губят? Ответить на такой проблемный вопрос можно, лишь осмыслив композицию произведения в целом, поняв сложность авторской оценки героев. В самом деле, беспристрастное зеркальце, всегда говорящее правду, невольно выдаёт царевну, скрывающуюся от преследований мачехи в тереме лесных братьев. Чернавка, сочувствуя царевне и отпустив её вопреки приказу царицы, под угрозой расправы оказывается способной на предательство. Доброта лесных братьев, их сердечность, гостеприимство всё же лишены преданности, неотступности. Только верная любовь королевича Елисея спасает царевну, пробуждает её от мёртвого сна. Это сопоставление героев, окружающих царевну, определяющих её судьбу, не замечаются читателями с первого взгляда так же, как и некоторые свойства добра и зла, представленные в сказке. Кротость царевны (недаром слово *“тихо”* постоянно сопровождает её в пушкинском тексте), доверчивость делает героиню сказки во многом беззащитной. Добро нуждается в защите, оно не всесильно. Однако зло, при всей его настойчивости, неуёмности, энергии, всё же терпит поражение. Царица-мачеха, хоть *“и умом, и всем взяла”*, не уверена в себе. Поэтому зеркальце постоянно нужно ей для самоутверждения. Так Пушкин обнаруживает внутреннюю несостоятельность и обречённость зла.

Борьба света и тьмы в сказке разрешается безоглядным, самоотверженным, бесстрашным чувством Елисея. Он не видит царевну *“мёртвой”*, перед ним *“спит царевна вечным сном”*. И эта любовь, не знающая границы жизни и смерти (как у самого Пушкина в *“Заклинании”*), спасает царевну:

В руки он её берёт
И на свет из тьмы несёт...

И зло рассыпается осколками разбитого мачехой зеркала. От *“тоски”* (не *“от восхищения”*, как мать) царица умерла.

Совершённая победа добра в сказке Пушкина всё же ограничивается её финалом, строками от автора:

И никто с начала мира
Не видал такого пира;
Я там был, мёд, пиво пил,
Да усы лишь обмочил.

Почему именно этими словами автора заканчивается сказка? Что это – дань традиции? Ведь так заканчивается и *“Сказка о царе Салтане”*. Вряд ли стоит видеть в этих финальных фразах привычный сказочный орнамент. Необычайность победы света над тьмой, редкость такого исхода и такой любви звучит в этих словах. И есть здесь созна-

ние условности победы добра над злом, победы, возможной лишь в мечте, в искусстве (“да усы лишь обмочил”). В 1833 году Пушкин заканчивает и работу над поэмой “Медный всадник”, где Евгений так и не нашёл своей невесты, унесённой наводнением. Поиски невесты – общий мотив поэмы и сказки, но исход различен. Реальные противоречия жизни в “Медном всаднике” ведут к трагическому финалу. Сказка при всём драматизме её, оказывается светлее, в ней возможна надежда и гармония, преодоление трагедии.

Этого света уже нет в последней сказке Пушкина, написанной в Болдине в 1834 году, году тревожном и смятенном, когда поэт окончательно расстался с иллюзией царской справедливости, близко почувствовал угрозу смерти (“Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит...”). Дневник Пушкина 1834 года при всей иронической лёгкости светского стиля полон описаний происшествий абсурдных. Жизнь вне нормы выходила за рамки остроумного анекдота. И поведение царей, и прежнего, и нынешнего, казалось Пушкину фантастически алогичным. В записи от 9 августа рассказана история опального при Павле I Трошинского, призванного в первый день нового царствования. «Трошинский нашёл государя в мундире, облокотившимся на стол и всего в слезах. Алемксандр кинулся к нему на шею и сказал: “Будь моим руководителем”. Тут был тотчас же написан манифест и подписан государем, не имевшим силы ничем заняться (VIII, 42–43).

Николай I, любивший подчёркивать суровый аскетизм своих бытовых привычек, приехав в Москву, “ухаживал за молодою княгиней Долгоруковой (...). Царь однажды пошёл за кулисы и на сцене разговаривал с московскими актрисами; это ещё менее понравилось публике. (...) В каком веке мы живём! В Нижнем Новгороде царь был очень суров и встретил дворянство очень немилостиво” (Там же).

Бессилие одного царя и похотливость другого прокладывали дорогу созданию образа Дадона. Исследователями давно замечено, что нелепый Дадон в “Сказке о золотом петушке” вызывает разнообразные ассоциации с историческими лицами, но, пожалуй, не стоит видеть в нём лишь сатирическую маску глупого царя, как это обыкновенно делают.

Анна Ахматова в знаменитой своей статье “Последняя сказка Пушкина”, где было сделано много открытий и, прежде всего, найден один из источников – “Легенда об арабском звездочёте” В. Ирвинга, сводит смысл “Сказки о золотом петушке” к мотиву неисполнения царского слова и облагораживает фигуру звездочёта. В современном исполнении эта мысль подана так: “... весь сюжет сфокусирован на идее наказания царя-клятвопреступника” (Зуева Т.В. Сказки А.С. Пушкина. М., 1989. С. 127). Но какого благородства можно ждать от “глубоко порочного старика”, каким видят Дадона ныне?

В.С. Непомнящий по-иному рассматривает Дадона, видя в “Сказке о золотом петушке” притчу “о человеке, считающем себя хозяином в ми-

ре” (Непомнящий В.С. Поэзия и судьба. М., 1983. С. 201). Не желая сводить смысл произведения к политической сатире, исследователь полагает, что сказка пронизана элементами автопародии поэта: “И получается, что судьба Дадона – это и его судьба, а быть может, и человеческая судьба вообще” (Там же. С. 198). Поиски вселенского смысла пороки уводят очень далеко от того “намёка”, который содержится в сказке.

“Сказка о золотом петушке”, несмотря на фольклорный колорит, далека от основ миропорядка, принятых в народном творчестве. Пушкин представил в ней мир, где нарушены все природные законы, разорвана естественная связь вещей. Власть (Дадон) бессильна и мечтает о покое, красота (Шамаханская царица) несёт не добро, а смерть; мудрость (звездочёт) не в силах предотвратить преступления и быть бескорыстной. В “Скупом рыцаре”, говоря о противоестественных вещах, побуждаемых золотом, Барон упоминает о добродетели, которая “смирно будет ждать... награды”. Добродетель и мудрость, по Пушкину, бескорыстны: “Волхвы не боятся могучих владык, / А княжеский дар им не нужен...”. Но звездочёт не только не отвергает награду, но требует её, хотя подаренный царю Золотой петушок, освободив царя от тревоги, в конце концов посылает на гибель сыновей Дадона и убивает его самого. Все сущности жизни (власть, красота, мудрость) в последней сказке Пушкина лишены своих природных качеств. Это разлом мира, не космос, а хаос.

Получается, что не “сказка – ложь”, а жизнь – ложь. Все обманно, и мотив сна, забывтья, призрачности, пустоты пронизывает сказку, оказывая её рефреном. Мир реальный смыкается с миром фантастическим настолько, что один без другого уже не могут существовать, как не в силах Дадон править без Золотого петушка и жить без Шамаханской царицы. Трудно видеть в этом хаосе происходящего идею справедливого возмездия. Погибают не только виновные (“грешник” Дадон), но и звездочёт, сыновья Дадона, “рать побитая”. И не все виновные наказаны. Шамаханская царица, ставшая, как Елена Прекрасная, причиной распри, исчезает без наказания, обретая свободу, как и Золотой петушок. Алогичны и поступки и желания героев сказки. Царь хочет покоя, скопец – девицу. Шамаханская царица покоряет всех, чтобы в конце концов привести к гибели. Ужас происходящего внят природе (“сердце гор потряслось”) и народу (“Вся столица содрогнулась”), которые остаются лишь свидетелями страшного действия. Невероятность происходящего в сказке поддерживается чередованием двух мотивов, основных в её композиции: страха и чуда.

Сказка начинается мотивом страха старого царя перед соседями. Славный царь, который “смолоду был грозен” и “наносил обиды смело”, становится беззащитен. Его возраст как будто оправдывает желание “покой себе устроить”. Но ни многочисленная рать, ни суета вое-

вод, описанная комически просторечно (“Ждут, бывало, с юга, глядь, – / Ан с востока лезет рать”), не спасают от тревоги. Горечь положения Дадона способна вызвать даже сочувствие (“Со злости / Инда плакал царь Дадон, / Инда забывал и сон”)*. Но власть, мечтающая о покое, сне, нелепа. И это несоответствие состояния, характера Дадона и царского сана усиливается “просьбой о подмоге”, обращённой к “мудрецу, звездочёту и скопцу”. Натужность, уродливость мудрости звездочёта, его отречённость от жизни и подчёркивается последним определением.

В “Песне о вещем Олеге” кудесник – “любимец богов”, “вдохновенный”, “заветов грядущего вестник”. И сказано, “какой ценой купил он право” (Ахматова) видеть тайны жизни и прозревать будущее: “В мольбах и гаданьях проведший весь век”. Здесь, в “Сказке о золотом петушке”, звездочёт покупает свою мудрость не постом и молитвой, не страданием, а оскотлением и в конце сказки хочет вернуть себе жизнь, получив Шамаханскую царицу из рук Дадона. Если звездочёт всеведущ, что мешало ему сделать это самому, не посылая на гибель сыновей Дадона и рать? Звездочёт, как и Дадон, бессилён в осуществлении своих желаний, и его дар царю в общей ситуации сюжета похож на тайную и коварно задуманную интригу.

Работая над эпизодом встречи царя и звездочёта, Пушкин подчёркивает униженность царской власти просьбой. В черновых вариантах было так:

Царь позвал его. – С поклоном
Тот пришёл к нему. – С поклоном
Смело стал перед Дадонем.
Тот пришёл к царю. С поклоном
Стал старик перед Дадонем.

(Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 16 т. М.-Л., 1949. Т. III/2; здесь и далее черновики приводятся по этому изданию, стр. 1109–1121).

В окончательном тексте царь “шлёт за ним гонца с поклоном”. Звездочёт не назван стариком. Старик в этой сцене Дадон, который к финалу молодеет и становится снова грозным. Звездочёт, напротив, подчёркнуто стар в конце сказки (“старец”, “старичок”).

В сцене первой встречи с Дадонем звездочёт ведёт себя с достоинством (“молвил”), снисходительно помогая царю. И Дадон это чувствует (“За такое одолженье...”), не замечая соблазна, иллюзии, которую предлагает скопец:

Петушок *мой* золотой
Будет верный сторож *твой*...

Вспомним слезы Александра I и призыв на помощь Троцинского, своеобразно реализованные в сказке.

Петушок остался верным звездочёту и отомстил за его смерть, клюнув царя в темя. Но Дадон доверчив и пока благодарен за спасение. Искреннее восхищение ведёт его к страшному шагу – обмену волей:

Волю первую *твою*
Я исполню, как *мою*.

Власть, отказавшаяся от собственной воли, абсурдна. Превращение Дадона в эхо звездочёта (*мой – твой, твою – мою*) – свидетельство пассивности царя, которая и приведёт его к гибели. Благодарность Дадона побуждает его не только сулить “горы золота”, но дать обещание, которое он не может исполнить. Человек не вправе отдать свою волю другому, пока жив. Сходный мотив щедрого обещания, которое властитель не способен выполнить, звучит в “Песне о вещем Олеге”. Князь обещает кудеснику награду за правду о судьбе. Но кудесник берёт не любого коня, а любимого, и Олег, внешне подчинившись приговору судьбы, не в силах забыть коня.

Обмен волей – первый шаг Дадона к гибели. Но это страшное действие облечено в форму чуда:

Петушок с высокой спицы
Стал стеречь его границы.
Чуть опасность где видна,
Верный сторож как со сна
Шевельнётся, встрепенётся
К той сторонке обернётся
И кричит: “Кири-ку-ку.
Царствуй, лёжа на боку!”

Петушок описан, как живой (“приподымет гребешок”), но его действия Пушкин при всём чуде происходящего лишает поэтической силы. Это наваждение, а не вдохновение (“как со сна”). И поэтому из текста убирается строка:

Петушок поёт опять...

Появляется другая:

Петушок кричит опять.

Отодвинутая чудом тревога возвращается. Снова чудо сменяется страхом: “Вот однажды царь Дадон / Страшным шумом пробуждён...” Страх отступает перед забытьём (“Шум утих, и царь забылся”), но оцепенение сна недолговечно, войско старшего и младшего сына исчезает бесследно, пропадает в пустоте. И снова: “Люди в страхе дни проводят...”. Поход самого Дадона подсказан не смелостью, а растерянностью.

стью. В черновике была строка: “Царь не знает, что начать”. Это неуверенность Дадона сохранена и в окончательном тексте:

Царь скликает третью рать
И ведёт её к востоку, –
Сам не зная, быть ли проку.

Походом страх не отброшен:

Войска идут день и ночь;
Им становится невмочь.
Ни побоища, ни стана,
Ни надгробного кургана
Не встречает царь Дадон.
“Что за чудо?” – мыслит он.

Пустота (в черновике: “А врага нигде не видно”) принята Дадонем за чудо. Но оно не замедляет явиться:

Войско в горы царь приводит,
И промеж высоких гор
Видит шёлковый шатёр.
Всё в безмолвии чудесном
Вкруг шатра...

Пустота завораживает тишиной, но таинство снова сменяется страхом:

Что за страшная картина!
Перед ним его два сына;
Без шоломов и без лат
Оба мёртвые лежат,
Меч вонзивши друг во друга.

Неожиданность боя среди наслаждений любви (“без шоломов и без лат”) подчёркивает, что спор шёл из-за Шамаханской царицы, и это могло бы служить грозным предостережением Дадону. Пронзительность впечатления поддержана сиротливостью коней, бродящих “среди луга по притоптанной траве, по кровавой мураве”. В фольклоре эпитет устойчив, как качества мира (зелёная мурава), здесь он неожидан и страшен, как само действие: кони живы, а всадники мертвы. Горе Дадона так сильно, что в его словах прорывается народный плач. Слово “завыл” не скомирометировано в фольклоре. *Выйть*, по Далю, “причитать и плакать по покойнику”. И “все завыли за Дадонем”. Искренность боли царя позволяет ему почти прозреть свою судьбу:

“Ох дети, дети!
Горе мне! попались в сети
Оба наших сокола!
Горе! смерть моя пришла”.

Эхо гор усиливает горестные жалобы Дадона и его войска:

Застонала тяжким стоном
Глубь долин, и сердце гор
Потряслось.

Вряд ли справедливо, как это делают многие исследователи, видеть в причитаниях Дадона комическое начало. Пушкин заботится здесь о трагическом впечатлении и убирает эпитет, который мог бы его нарушить (в черновике: “Застонала жалким стоном”). Но тем неожиданнее переход от страха и горя к чуду. Смерть является в облике чуда, обольщения.

Над портретом Шамаханской царицы Пушкин работает упорно, освобождая её облик от фольклорных начал. В черновике – привычный образ красавицы (“бела, добра”, “румяна, как заря”). Шатёр назван “таинственным”, потом “белым, шелковым”. Но таинство не в шатре – в царице. Среди ужаса кровавой сечи она сияет, как заря. (В черновике: “в блеске вышла из шатра”). Она несёт успокоение: “тихо встретила царя”.

В черновике реакция Дадона комична:

Ахнул царь, ей глядя в очи.

В окончательном тексте таинство ослепления поднято до высокой поэзии:

Как пред солнцем птица ночи,
Царь умолк, ей глядя в очи...

Пушкину были знакомы чувства, овладевшие Дадоним:

Куда бы ты ни поспешал,
Хоть на любовное свиданье,
Какое б в сердце не питал
Ты сокровенное мечтанье, –
Но, встретясь с ней, смущённый, ты
Вдруг остановишься невольно,
Благоговевя богомольно
Перед святыней красоты.
(“Красавица”, 1832)

Однако в “Сказке о золотом петушке” красота не святыня, а Дадон не благоговеет богомольно, а повинуется чарам, забывая о реальной беде. Тяготение Дадона ко сну, забытью и здесь заставляет его отрешиться от своей воли:

И потом, неделю ровно,
Покорясь ей безусловно,
Околдован, восхищён,
Пировал у ней Дадон.

Восхищение чудом, как и во встрече со звездочётом (“говорит он в восхищеньи”), опять ведёт царя (власть) к потере воли. И только в последнем эпизоде сказки Дадон эту свою волю упорно отстаивает перед звездочётом, но поздно: он уже обречён и должен платить по обещанию.

Сцена возвращения Дадона в столицу неоднократно перерабатывалась Пушкиным. Конец – делу венец, и финал произведения определяет окончательные акценты смысла. Прежде всего в этом эпизоде резко подчёркнуты перемены в Дадоне. Это не испуганный сонный царь, который мечтает царствовать “лёжа на боку”. Здесь он бодр, приветлив, щедр. В черновике это новое состояние Дадона дано совершенно откровенно. Народ

... бежал пред колесницей,
Где Дадон сидел с девицей,
Улыбаясь нежно ей.

Рад и счастлив был Дадон.

Неожиданность перемены в Дадоне так велика, что удивлению народа в черновике придано комическое звучание:

Из ворот его столицы
С шумом кинулся народ.
Все глядят, разиня рот.

В окончательном тексте чувства Дадона охарактеризованы более сдержанно, но суть их неизменна, и они переведены в действие. Влюблённость делает Дадона благожелательным (“всех приветствует Дадон”) и щедрым. Он сам замечает мудреца, сам его призывает, сам хочет награждать. Царь полон благодарности, и его обращение к звездочёту полно фамильярного, но тёплого благодушия:

“А, здорово, мой отец, –
Мовил царь ему, – что скажешь?
Подь поближе! Что прикажешь?”

Дадон не уходит от расплаты, признаёт свои обязательства и готов их выполнить, как волю высшую (“Что прикажешь?”). И он готов отдать всё:

“... Попроси ты от меня
Хоть казну, хоть чин боярский,
Хоть коня с конюшни царской,
Хоть полцарства моего!”

Но звездочёт требует невозможного: отдать царицу, которую Дадон любит. В черновике эта нереальность платы высказана откровеннее: “Ты спросил бы у меня / То, что сделать мог бы я”. Изумление царя было подчёркнуто резче:

“Как? – спросил его, – царицу?”; “Ты, мудрец, с ума сошёл”.

С другой стороны, в черновике виден соблазн сделать Дадона неблагодарным мошенником: “От моих от царских слов / Отпереться я готов”. Но в конце концов побеждает в Дадоне достоинство: “Не забыл своих я слов / И их выполнить готов”.

Однако абсурдность просьбы скопца и её неисполнимость побуждают Дадона сопротивляться. Сначала увещеванием: “Полно, сводник что ли я?”; “Сам себя, упрямец, мучишь”. Дадон оскорблён просьбой, потому что все его беды и радости оказались лишь исполнением чужого замысла, он стал орудием в руках звездочёта (“сводник”), призваным добыть Шамаханскую царицу, отдать её скопцу.

В черновых вариантах сказки связь звездочёта и царицы как являющейся одной силы была установлена эпитетами.

Уже в первой встрече с царём звездочёт был назван шамаханским скопцом. В последнем эпизоде – “шамаханский наш мудрец”, “в шамаханской шапке белой”. Это прямое сопряжение звездочёта и царицы в окончательном тексте отменяется. Но связь с Востоком остаётся: “в сарачинской (астраханской) шапке белой”. Восточный евнух хочет получить красавицу из рук царя. В черновых вариантах абсурдность его желания подчёркивалась прямо – старостью: “Весь наморщен, поседелый. С бороною поседелой”. В окончательном тексте Пушкин даёт возможность звездочёту быть благородным в облике: “Весь как лебедь поседелый”. Эта деталь подкупила Ахматову, всегда влюблённую в эту царственную птицу (“Уже кленовые листья на пруд слетают лебединый...; “И снова лебедью плыла сквозь золотистый дым”). И вслед за Ахматовой В.С. Непомнящий строит концепцию о белом петухе, возвышающую звездочёта. Но благородство облика скопца лишь контрастирует с капризным упрямством его поведения:

“Не хочу я ничего!
Подари ты мне девицу,
Шамаханскую царицу...”

Желание, за которое звездочёт платит жизнью, лишено мотивов (“И зачем тебе девица?” – разумно говорит Дадон). И в этом ещё одна примета того абсурдного мира, который дан в сказке и которому не противостоит, а принадлежит звездочёт. Дадон, забыв свои намерения, становится груб и властен. И Пушкин усиливает это впечатление, меняя детали: вместо “вспыхнул царь” (в черновике) появляется “плюнул царь” (в окончательном варианте). Дадон, наконец, обретает собственную волю, но это злая воля, ведущая к смерти старика, а потом и самого царя. Да и его ли, Дадона, воля? Он пленник Шамаханской царицы, и её весёлое удовлетворение при гибели звездочёта, пожалуй, свидетельствует об исполнении её желаний.

Вся столица
Содрогнулась, а девица –
Хи-хи-хи! да ха-ха-ха!
Не боится, знать, греха.
Царь, хоть был встревожен сильно,
Усмехнулся ей умильно.

Шамаханская красавица, поначалу наделённая кротостью (“тихо встретила царя”), начинает напоминать царицу-мачеху из “Сказки о мёртвой царевне и о семи богатырях” с её бесовским злорадством и самовлюблённостью. Любовь оказывается в сказке стихией призрачной, неверной, ведущей к смерти.

И звездочёт, и Дадон, как его два сына, спорящие из-за Шамаханской царицы, в гибели становятся детски беспомощными и вызывают жалость этой простодушной человечностью гибели:

Царь хватил его жезлом
По лбу; тот упал ничком,
Да и дух вон. <...>
...клянул в темя
И взвился... и в то же время
С колесницы пал Дадон!
Охнул раз, – и умер он.

Мгновенность смерти обоих соперников от ударов зеркально повторяет судьбу одного в другом и уравнивает их.

Финал сказки не несёт в себе катарсиса. Поначалу Пушкин хотел его озвучить:

Петушок слетел со спицы
И запел...

В окончательном тексте нет торжествующей песни петуха. Уходит из текста победность:

И летит, блестя крылами.

Лёгкость движений петушка в соседстве со смертью выглядит столь же жестокой, как смех Шамаханской царицы. Р.О. Якобсон выразительно писал о губительной силе статуи в поэтической мифологии Пушкина: «В “Золотом петушке” Пушкин намеренно видоизменяет сказку Ирвинга и её название: он вводит образы мёртвых сыновей царя, чем ярче подчёркивает страсть Дадона к Шамаханской царице; тем, что звездочёт – скопец, усиливается нелепость его притязаний на царицу, и Пушкин даёт, самое главное, совсем другую развязку – вмешательство статуи и смерть царя» (Якобсон Роман. Работы по поэтике. М., 1987. С. 151).

“Урок” последней пушкинской сказки лишён этического удовлетворения. Напротив, он трагичен, и это подчёркнуто неожиданным и таинственным, как в балладе, обрывом сюжета.

Санкт-Петербург





Стаж

Н.С. АРАПОВА,

кандидат филологических наук

В “Этимологическом словаре русского языка” М. Фасмера слову *стаж* посвящена одна строчка: “Из франц. *stage* – то же”. Более подробно анализирует это слово и его производные, которые Фасмер даже не упоминал, П.Я. Черных в “Этимологическом словаре русского языка” (М., 1994. Т. II). Он так же считал источником слова *стаж* французский язык (дал краткие сведения о возникновении этого слова во французском языке), датировал его появление в русском языке началом XX века и привел первую лексикографическую фиксацию – Словарь иностранных слов А.М. Виноградова (1907) для слова *стаж* и аналогичный словарь И.В. Вайсблита (1926) для слов *стажировать*, *стажист*, *стажиер*. Но слово *стаж* и его производные заслуживают более подробного анализа.

В русском языке это слово появилось на рубеже XIX и XX веков. Мы находим его в брошюре С. Карастелевой “Как учиться молодежь в Париже”: “Каждый студент во время своего пребывания в университете должен сделать три обязательных стажа: 1) хирургии, 2) медицины и 3) акушерства и еще один специальный. Стаж, или обязательное ежедневное посещение больницы, продолжается ... (от 1 декабря до 15 июня). Он должен быть сделан в одном и том [же] service, под руководством одного и того же chef. В конце стажа chef de service посылает свое мнение о каждом стажере на факультет, где этот отзыв вносят в dossier студента. Неудовлетворительный отзыв вызывает необходимость повторить стаж” (М., 1905).

Ранее мы видим то же слово в аналогичном контексте в латинской графике: “... госпитальные занятия (*stage*) студентов...” (“Медицинское обозрение”. 1900. Т. 53). Сейчас мы бы назвали это *практикой*.

Слово *стаж* зафиксировано в “Иллюстрированном словаре иностранных слов” Д. Головкова (1914): “**стаж** – время, необходимое для подготовки в к.-н. деятельности, напр., присяжного поверенного”.

Сходную дефиницию находим в Словаре Н. Гомартели и М. Маркова (1917): “**Стаж** – время подготовки (практики) для получения права на самостоятельную деятельность”.

В “Кратком политическом словаре” И.В. Владиславлева (1917) – аналогичное толкование: “**Стаж** – время подготовки (для занятий к.-л. должности)”.

Итак, в начале XX века слово *стаж* имело значение, которое наиболее полно сформулировано в “Карманном словаре-справочнике” (1930) под пунктом 3: “определенный срок работы, который должен проработать окончивший учебное заведение по своей специальности, под руководством опытных работников, прежде чем получить назначение на самостоятельную работу”.

В настоящее время существительное *стаж* в таком значении не употребляется; его заменило слово *стажировка*, о котором мы еще поговорим. Но в первые два десятилетия XX века основным значением слова *стаж* было именно “стажировка с целью наработать опыт”. Это надо учитывать, сталкиваясь, например, с таким пассажем в известной монографии М.О. Гершензона “П.Я. Чаадаев” (1908): “Перед нами дневник б д е н и я, которому учил Штиллинг. Мы застаем Чаадаева в самом разгаре мистического стажа: он с напряженным вниманием следит за тем, как совершается слияние его души с Божеством” (М., 1989).

Это же значение, по-видимому, у слова *стаж* в письме Б.Л. Пастернака родителям от 30 января 1916 года: “Здесь имеется театр заводской, (...) я хочу играть, и здешний народ на зрелища подобного рода очень, очень падок, а мне и тут хочется пройти Хилковский stage, от машиниста до М.П.С.”. Публикаторы писем снабжают *stage* примечанием: “театральные подмостки, поприще (англ.)”, но нам представляется более вероятным предположить здесь не английское, а французское слово: *stage* “стажировка, приобретение мастерства под руководством опытных профессионалов”.

О стаже как о времени приобретения опыта свидетельствует и следующий отрывок из брошюры В.А. Кильчевского “Техника собраний”: “Стаж секретарства – *незаменимый стаж* для всякого, кто хочет активно выступать в общественных собраниях” (М., 1919).

Во втором десятилетии XX века появляется устойчивое словосочетание *революционный стаж*, причем не только в партийной, но и в художественной литературе: “Но из нас он [Борис Мурузов. – Н.А.] считался самым левым и даже, кажется, сидел когда-то на Шпалерной, и этот революционный стаж вместе с его язвительной авторитетностью во мнениях делал его как бы главою нашего случайного кружка. Все мы значились лишь в сочувствующих и негодующих, а он все-таки до известной степени мог сойти за деятеля с прошлым” (Куприн А.И. “Гусеница”. 1918).

Естественно, что опытность любого работника тесно связана с числом проработанных лет, и годы стажировки, когда человек еще молод и обучаем, играют не последнюю роль в приобретении профессионализма.

К середине 20-х годов *стаж* постепенно сдвигает значение в сторону “количество проработанных лет”. Вот отрывок из письма И.Э. Грабаря жене 10 февраля 1924 года: “Судьбинин (...) 6 лет игравший в Худож[ественном] театре (дублировал Вершинина (...)), с самого момента его возникновения в Пушкине еще, да еще до того имевший 6-летний провинциальный стаж, попал в скульпторы случайно...”. Здесь *стаж* можно понимать двояко – и как время приобретения опыта, и как число проработанных лет, а вернее всего – оба значения здесь как бы суммированы. Но Малая энциклопедия 1925 года уже дает такое определение рассматриваемого нами слова: “**Стаж.** Так называется тот период жизни трудящегося, в продолжение которого он был занят производительным трудом, работая по одной или нескольким профессиям”.

Обратим внимание на последние слова этого определения – *по одной или нескольким профессиям*. Таким образом, речь уже не идет о стаже как о времени приобретения опыта в какой-то определенной профессии, а лишь о *стаже трудовой деятельности*.

Мы уже цитировали часть словарной статьи *стаж* из “Карманного словаря-справочника” 1930 года. Приведем два первых значения этого слова: “1. Опыт в каком-нибудь деле, полученный вследствие долголетней работы. 2. Самый срок работы, его продолжительность (партстаж, профстаж)”.

Семнадцатитомный Словарь современного русского литературного языка (т. 14) дает два значения слова *стаж*: “1. Продолжительность какой-либо деятельности, работы; количество лет, проработанных кем-либо где-либо. 2. Срок, в течение которого лицо, приступившее к какой-либо работе, деятельности, приобретает практический опыт и овладевает специальностью”. Никаких указаний на то, что второе значение устарело, Словарь не дает (14-й том вышел из печати в 1963 г.). Но текст, выбранный из “Моих воспоминаний” академика А.Н. Крылова (они написаны в 1941 г.) и помещенный для иллюстрации первого значения слова *стаж*, по нашему мнению, относится ко второму: “Для морского офицера, чтобы быть допущенным к экзамену, требовался годичный стаж пребывания на одном из кораблестроительных заводов”.

Со словом *стаж* словообразовательно связано существительное *стажёр*. Сначала оно выступало в латинской графике: “... и прочие студенты обязаны посещать эти клиники в роли *stagiaires* – нечто вроде наших кураторов” (газета “Врач”. 1880). Но уже к концу XIX века оно пишется по-русски: “В течение почти шестилетнего пребывания моего в качестве стажера и экстерна в различных парижских больницах...” (Лоран Э. Тюремный мир. 1899).

В 20-е годы XX века орфография и произношение этого слова меняются на современные: *Стажеры* (Бронштейн Н.И. Квартирная плата. 1924); *стажер* (Справочник студента-профработника. 1928), а “Кар-

мантный словарь-справочник” 1930 года так толкует это слово: “**стажер** – окончивший учебное заведение, отрабатывающий стаж предвзрительной работы под руководством опытных работников”.

Слово *стажер* было новым и не все его знали. Эмигрировавший на Запад русский писатель Борис Зайцев, не зная о том, что *стажер* прочно вошло в русский обиход, писал в письме Л.Н. Назаровой 29 декабря 1968 года: “Сейчас в Москве один *stagiaire*, наш приятель-француз, студент [Рене Герра. – Н.А.]”. В письме от 28 февраля 1969 года Б. Зайцев пишет тому же адресату: “Напишу еще раз милейшему *stagiair*’у, защитившему уже одну работу обо мне в Сорбонне...” (Русская литература. 1995. № 1).

Глагол *стажироваться* появился в русском языке позже. Сначала он фиксировался в словарях без возвратной частицы *-ся* (см. материалы П.Я. Черных). Причастие *стажирующийся* мы находим в “Военном немецко-русском словаре” Кузнецова и Таубе 1931 года: “*Stabsoffizier beim Stabe* помощник (заместитель) командира части (обычно *стажирующийся*)”. Но словари иностранных слов 1937 и 1939 годов фиксируют его без возвратной частицы. В Толковом словаре под ред. Д.Н. Ушакова находим обе формы – *стажировать* и *стажироваться*. Оба глагола имеют помету *нов(ое)*. Форма *стажироваться*, хотя и представлена отдельной словарной статьей, рассматривается как “Неправ(ильно) вм(есто) стажировать” (Т. 4). Форму *стажировать* как единственную приводит и Словарь С.И. Ожегова (1949). Но семнадцатитомный Словарь русского литературного языка (Т. 14) дает обе формы – *стажировать* и *стажироваться* – без указания на предпочтительность какой-либо одной из них. Обратный словарь русского языка 1974 года также помещает обе формы – *стажировать* и *стажироваться*. Та же картина в Толковом словаре русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой (1996). Из современных словарей впервые форму *стажироваться* как единственную находим в “Большом толковом словаре иностранных слов в трех томах” М.А. Надель-Червинской и П.П. Червинского (1995. Т. 3).

С глаголом *стажировать(ся)* словообразовательно связано существительное *стажировка*. Его мы находим в “Указателе приказов и циркуляров Политуправления РККА за 1925 год”. С ним безуспешно конкурирует слово *стажьерство*, отмечаемое в работе “Система и методы диспансеризации” Я.Ю. Каца (1925).

Вернемся к французскому языку, откуда, вне всякого сомнения, заимствовано слово *стаж*. Обратимся к данным этимологических словарей французского языка: *stage* “стажировка” возникло в начале XVII века в языке церковников и юристов. Такая профессиональная ориентация этого слова сохранялась до середины XIX века. Значение его хорошо описывает “Всеобщий французско-русский словарь” И. Татищева (1841. Т. 2): “*Stage, s.m.* Пребывание, особливо шестимесячное время,

которое новый каноник должен выжить при соборе для того, чтоб мог пользоваться почестями и доходами, принадлежащими каноническому месту; – (приказ[ное].) искус, время, в которое адвокатские ученики должны были ходить в суд до включения их в список адвокатов”. С середины XIX века значение стало более широким: “1. Период приобретения профессиональных навыков под руководством опытных наставников перед началом самостоятельной деятельности; 2. Стажировка (обычно короткая) в смежной профессии (например, акушерская стажировка для врачей-неонатологов)”. Слово *stage* заимствовано французским языком из позднелатинского *stadium*, которое, в свою очередь, калькирует старофранцузское *estage* (и которое позже дало *étage* “этаж”), имевшее значение “пребывание”, производное от *ester* < латинское *stare* “стоять; находиться”. Начиная с 1823 года во французских источниках фиксируется производное существительное *stagiaire* “стажер” (Dauzat A., Dubois J., Mitterand H. Nouveau dictionnaire étymologique et historique).

Итак, слово *стаж* заимствовано русским языком из французского на рубеже XIX и XX веков в значении “период приобретения профессиональных языков”, устаревшем в настоящее время. Современное же значение слова *стаж* “число проработанных лет”, скорее всего, развилось на русской почве: французские толковые словари его не отмечают. Из французского же языка несколько ранее заимствовано существительное *стажиер*, которое довольно скоро переоформилось на русской почве в *стажер* по аналогии со словами *визитёр*, *дирижёр*, *контролёр*. Но глагол *стажировать(ся)* надо рассматривать как собственно русское производное от слова *стаж* “стажировка”. Французы говорят: *faire son stage* (буквально “делать свой стаж”).



Ряха – не только щеголиха

А.Н. ШУСТОВ

Слово *ряха* существует в русском языке достаточно давно; правда, чаще употребляется его уменьшительная форма *ряш(ж)ка*. В разных местностях оно имеет несколько омонимических значений: “лохань, банная шайка, чистоплотность (видимо, изначально как-то связано с банным инвентарем), беда, изба (в языке офеней сер. XIX в.)”. Эти смысловые оттенки отмечены в диалектах многих областей; частично вошли они и в словарь В.И. Даля (М., 1982. Т. IV). В значении “любящая наряжаться”, т.е. “щеголиха”, слово зафиксировано в Словаре церковнославянского и русского языка (1847. Т. 4).

Действительно, имеется большая группа слов с корнем *ряд-* – *порядок, наряд*. В нее входит и глагол *ряхаться* – наряжаться, прихорашиваться. Ср. у поэта-имажиниста В. Шершеневича: “Костюм мой ряшливый” (Квартет тем. 1919). В начале XX века лексикограф А.Г. Преображенский относил *неряху* именно к этой группе. Он рассуждал так: *ряхая* – щеголиха; *неряха* – та, кто дурно, грязно одевается (Этимологический словарь русского языка. М., 1959. Т. 2; ср. обл.: *неряже* – плохо, некрасиво). Этой же версии придерживается и М. Фасмер. Писатель-лингвист Л.В. Успенский тоже пытался объяснить слово *ряха* через *неряха*: если отнять отрицание *не-*, то “следовательно, должно существовать и слово *ряха*. Оно и впрямь живет в народных говорах русского языка. *Ряха* – “женщина-чистюля” (Почему не иначе? М., 1967).

Попутно отметим, что один из ранних диалектных словарей (Опыт областного великорусского словаря. СПб., 1852, дополн. 1858) не фиксирует слов *ряха* и *неряха* вообще. К сожалению, выходящий ныне Словарь русских народных говоров до слога “ря” не “добрался”. Кстати, *неряхой* (обл. вар.: *неряшка, неря*) может быть не только женщина, т.е. это существительное общего рода.

Наряду с уже приведенными значениями слово *ряха* частенько употребляется для названия круглого, упитанного (жирного) лица. В просторечии, особенно в поговорках, название лица – *ряха* – носит явно (и только) неодобрительный, осуждающий оттенок: *У него ряха – решетом не покроешь; Вон какую ряху наел* и т.п. Подобные выражения зафиксированы и в картотеке Фольклорного отдела Института лингвистических исследований РАН (СПб). Встречается это слово и в городской разговорной речи. Одна из петербуржанок в газетном интервью так высказалась о депутатах Госдумы: “Штаны протирают, ряхи отъели, а толку нет” (Петровский курьер. 1999. 30 авг.). Использует это словечко в своих фельетонах и М. Жванецкий.

Этимологии слова *ряха* не существует. Во всяком случае, ни один лексикограф не приводит ее. А.Г. Преображенский прямо писал, что происхождение его неизвестно.

Если допустить, что *ряха* – это чистюля, аккуратница, т.е. человек по своим качествам положительный, то отрицательное значение слова применительно к лицу (как синоним *рожи, морды, рыла...*) кажется необъяснимым. Попробуем разобраться.

Прежде всего следует отметить, что все словари русского языка “не признают” этого значения слова, фиксируя иногда лишь его уменьшительную форму – *ряшка*, т.е. сознательно оставляют его за пределами литературного языка. В областных же (диалектных) словарях оно встречается, причем без каких-либо помет (см., например, Новгородский обл. словарь. Новгород, 1994. Вып. 9). Таким образом, налицо некая парадоксальная ситуация: в языковой практике слово есть, и в то же время его как бы и нет, оно – “вне закона”.

Время появления нового значения существительного *ряха-лицо* определить сложно. В картотеке бытовой лексики XVII–XVIII веков оно не отмечено (справка Е.В. Колосько), а фиксации в картотеках Фольклорного и Словарного отделов Института лингвистических исследований относятся к очень позднему периоду (1960-м годам). На основании неофициальных (устных) источников пока можно сказать лишь, что появился этот неологизм-омоним, возможно, на рубеже XIX и XX веков. Однако тогда он не употреблялся в среде воспитанных людей, поскольку для той поры это была “ненормативная лексика”. Например, моя бабушка (мещанка, рожд. 1878 г.) хорошо знала его, но никогда не произносила, считая крайне неприличным, чуть ли не матерным.

Рассмотрим гипотетические варианты появления у слова *ряха* его “лицевого” значения.

Первый. Как уже отмечалось, довольно широко распространено слово *ряш(ж)ка* для обозначения емкостей: “лохани, корыта, ведра...” для пищевых отходов на корм скоту, т.е. попросту – *помойница*. Новгородский областной словарь приводит еще такие варианты: невысокий деревянный сосуд: с одной ручкой – для мытья в бане (ребятишек купа-

ли в ряжках); с двумя ручками – для разных хозяйственных надобностей. Может быть, эти “посудные” синонимы и породили новое, переносное значение у слова *ряшка*; так сказать, по внешней схожести – нечто круглое и “нечистое”. Сравним другие слова-омонимы, созданные по признакам подобия: *свинка* (болезнь), *баранка* (рулевое колесо), *молния* (застежка), *кубышка* (толстушка) и т.п. В этом случае форму *ряха* следует считать вторичной по отношению к *ряшке*; так же, как в случаях *зонтик* → *зонт*, *гречка* – *греча*.

Второй. Вспомним сходное по звучанию слово *рюха*. Им называют не только чурку для игры в городки. Есть у него и другие (диалектные) значения: “свинья, чушка, рюшка...” от звукоподражательного *рюхать* – “хрюкать, храпеть”. Если *рюха* – это *свинья*, то ее щекастое рыло вполне подходит для грубой характеристики соответствующего человеческого лица. Не случайно же вульгарная поговорка презрительно уточняет: *У него ряха – с похмелья не обгадишь*. *Рюха* → *ряха* – поздняя перегласовка (ср. *хрюкать* → *хряк*). Кстати, и в этом варианте есть пример перенесения названия на иной объект по подобию: *чушка* – это не только *свинья/рюшка*, но и большая металлическая отливка, слиток.

Третий. В разговорном языке издавна практикуется схема словообразования путем перестановки букв и слогов. Ею часто пользуются писатели-юмористы и развлекаются дети, воспринимая как забаву, игру. Такая схема называется анаграммой: *пор-ка* – *ка-пор*, *ма-ть* – *ть-ма*, *ро-кот* – *от-рок*, *ток-мо* – *мо-ток*, *каз-на* – *на-каз* и мн. др. Приведенные примеры призваны лишь проиллюстрировать принцип анаграммы, и не служат доказательством именно такого взаимоотношения вышеприведенных пар. Осмелимся высказать предположение, что *ряха* является анаграммой слова *ха-ря* (об этимологии этого вульгаризма см. Русская речь. 1994. № 5). Оба слова созвучны и, главное, – являются близкими синонимами.

Отдать предпочтение какому-либо одному из предложенных вариантов затруднительно. Возможно, на практике имели место их комбинации. Этимология существительного *ряха-лицо* нуждается в дальнейших проработках и уточнениях.

Санкт-Петербург



Можно ли целовать намерения?

А.В. ГРИГОРЬЕВ,
кандидат филологических наук

Известно, что в современном русском языке слово *целовать* употребляется в значении “прикасаться губами к кому-либо, чему-либо в знак любви, дружбы, при встрече и прощании”. Однако в повести Н.С. Лескова “Мелочи архиерейской жизни” мы читаем: “[Бог] не только деяния приемлет, но и намерения целует”. Как можно *целовать намерения*? Очевидно, здесь значение слова *целовать* отличается от современного.

В русском языке существует ряд слов, которые сегодня не имеют ничего общего, кроме одинакового корня *цел*: *целовать*, *исцелять*, *целый*, *целина*, *целковый*. Какое значение несет он в себе? Для этого рассмотрим непроемное слово *целый*: “Богатыря там остов целый/ С его поверженным конем/ Лежит недвижный...” (Пушкин. Руслан и Людмила). Здесь *целый* означает “обладающий внутренним единством, неделимый на составные части, неповрежденный”; “С утра дом Лариной гостями/ Весь полон; целыми семьями/ Соседи съехались в возках...” (Пушкин. Евгений Онегин). В данном случае *целый* – “весь, рассматриваемый в полном объеме”.

Обратившись к словарям, мы найдем следующие значения слова *целый*: “обладающий внутренним единством, существующий или рассматриваемый в полном объеме, неделимый на составные части, неповрежденный, без изъянов”. Эти признаки определяют значение и таких слов с корнем *цел-*, как *целина* – “не подвергавшаяся обработке, никогда не паханная земля (то есть неповрежденная, нетронутая)”; *целик* –

“массив почвы с полезными ископаемыми, оставляемый нетронутым при разработке месторождения (то есть нечто целое, нетронутое)”; *целковый* (*целкач*, *целковик*) – “серебряная монета достоинством в один рубль”, т.е. целый (один) рубль, одной монетой, а не *четвертина* (*четвертинка*, *четвертак*) – четверть рубля, 25 копеек, не *полтина* (*полтинник*) – половина рубля (Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1994. Т. IV; Фасмер М. Этимологический словарь русского языка).

Если предмет целый, то есть неповрежденный, то он в полной мере может выполнять свои функции. Целая чашка служит для питья или украшения интерьера, разбитая – перестает существовать для нас как функциональный предмет: “Большая часть из них (записок)... потеряна, а чемодан... остался цел” (Лермонтов. Герой нашего времени). *Остался цел* – значит “сохранился”, “не исчез”, так говорится о предмете, существующем в реальной действительности.

Если человек цел, то есть не имеет повреждений и болезней, он воспринимается как живой, здоровый, активно действующий, исполняющий свои обязанности субъект: “Не беспокойтесь, я за это на дуэль не вызову: ваш жених цел останется” (Островский. Бесприданница). Здесь *целый* означает “живой”.

По отношению к частям тела человека у данного слова развилось значение “здоровый”, то есть “лишенный повреждений, болезней”: *ноги*, *руки целы*, а также “неповрежденный, ясный, светлый (об уме и рассудке)”: “Молчалин! как во мне рассудок цел остался!” (Грибоедов. Горе от ума). Здесь остался *цел* значит “остался неповрежденным, светлым, ясным”. В значении “ясный, светлый” *целый* часто встречалось в древнерусском языке.

Применительно к тем, кто находится в добром здоровье, благополучном состоянии, мы употребляем устойчивое выражение *цел и невредим*; у Пушкина встречается также выражение *целый и живой*: “Дай Бог тебя мне увидеть здоровою, детей целых и живых”. Однако это не означает, что слова *целый* и *здоровый* могут свободно взаимозаменяться. Этому мешает разная внутренняя форма данных двух слов.

Здоровый же – означает “крепкий”, буквально “из хорошего (крепкого) дерева” (праслав. *sъdrovъ из *sъ “хороший” + *dorvo- “дерево”. – Фасмер. Указ. соч.) – здесь представлено, скорее, не визуальное, а тактильное (осозательное) понимание здоровья: для определения, насколько крепок предмет, его требуется потрогать.

Итак, значение всех слов с корнем *цел-* определяется комплексом признаков: “обладающий внутренним единством, существующий или рассматриваемый в полном объеме, неделимый на составные части, неповрежденный, без изъянов, позднее – здоровый”.

Если слова с корнем *цел-* обнаруживают зависимость от данного первоначального значения, то мы можем предположить, что оно будет

определять и семантику слова *целовать*. Действительно, ученые считают, что первоначальное значение данного слова было “желать целостности, здоровья, невредимости” (Черных П.Я. Историко-этимологический словарь. М., 1994. Т. II), а определение В.И. Даля таково – приветствовать, желать целости, здоровья (Т. IV). В дальнейшем *целовать* – желать быть целым, невредимым, здоровым, когда приветствуют, прощаются, благодарят, проявляют чувства любви, уважения.

Так, например, в существующем во всех культурах обычае приветствовать друг друга, который нередко был длинным, сложным, со многими церемониями, вначале неизменно полагалось передавать собеседнику всяческие пожелания. Известно, что греки приветствовали друг друга словом *радуись!* (греч. *chaire!*), римляне желали здоровья, говоря *salve!*, что буквально означает здравствуй. Кстати, от латинского слова с корнем *salus* (*salutis*) “здоровье, неповрежденность, спасение, привет, поклон” через западноевропейское посредство в русский язык пришло слово *салют*, которое также используется и для приветствия. В современном немецком языке пожеланием благополучия и счастья является существительное *Heil*, которое исторически родственно русскому *целый*. Таким образом, для немца счастье – это целостность и здоровье (прилагательное *heil* означает “целый, здоровый”).

Слово *целовать* встречалось в старославянском и древнерусском языках часто в значении “благодарить, приветствовать, прощаться, поздравлять, проявлять любовь, уважение, в том числе с помощью поцелуя” (Калайдович П. О словах, изменивших свое знаменование // Труды общества любителей российской словесности. М., 1826. Ч. VI).

Именно в этом значении слово *целовать* мы встречаем у Лескова: “[Бог] не только деяния приемлет, но и намерения целует [то есть приветствует]”. Это предложение – цитата из церковнославянского перевода “Слова огласительного” Иоанна Златоуста, которое читается в конце пасхальной заутрени.

Слова с корнем *цел-* могут использоваться и применительно к собственному поцелую как знаку благодарности, приветствия, прощания, проявления уважения или любви. М.Е. Салтыков-Щедрин, скрупулезно исследовавший все “мелочи жизни” XIX века, оставил нам многочисленные описания “обряда целования” при приветствии или прощании, в том числе этикетного целования руки “вышестоящего”: дети целовали руки родителям; крестьяне – барину; паства – священнику; мужчины целовали ручки дамам. Выражение *приезжать целовать ручку* встречается в значении “нанести визит вежливости”. Нередко при приветствии или прощании использовали выражение *целую ручку!*

Постепенно ведущим у слова *целовать* становится значение “прикасаться губами к кому-либо, чему-либо”, и оно со временем вытесняет общепотребительное до конца XIX века *лобзать*, преимущественно использовавшееся в данном значении:

Лобзай меня: твои лобзанья
Мне слаще мирра и вина

Пушкин. “В крови горит огонь желанья...”

Однако через столетие у Есенина:

Ну, целуй меня, целуй,
Хоть до крови, хоть до боли.

“Ну целуй меня, целуй...”

Однако нельзя сказать, что первоначальное значение слова *целовать* в русском языке утратилось. Оно сохранилось в таких словах и устойчивых сочетаниях, как *целование*, *святое целование*, *последнее целование*, *братское целование*, *целовать ручки*, *целовать крест* (*крестное целование*), *целовальник*. У Даля зафиксировано предложение: *Отцелуй его от меня обратно* (Т. IV): здесь возможна контаминация значений “приветствовать” и “целовать”.

При этом интересно: часто, особенно после XVIII века, слова *целовать* и *лобзать* выступали как синонимы, однако можно было сказать *целовать крест* (в значении “присягать”, “обещать”, “давать клятву”), но нельзя в этом же значении – *крест лобзать*. Умершему отдают *последнее целование*, но не *последнее лобзание*. Однако Иуда чаще всего *лобзает*, а не *целует* Иисуса. Различия в употреблении данных слов также обусловлены особенностями их внутренней формы.

Так, если используются слова с корнем *лобз-*(*лобыз-*), то обращается внимание на факт поцелуя, при этом нередко это поцелуй чувственный или предательский. Дело в том, что внутренняя форма слова *лобзать*: “лизать, облизываться, касаться” (Фасмер. Указ. соч. Т. II). С одной стороны, она точнее отражает смысл поцелуя, с другой – слово *лобзать* связано чередованиями с такими словами, как *лабзить* “льстить”, *лабоз* “льстец”, “льстивый угодник”, “обманщик”, *лебезить* (все они являются отрицательно окрашенными).

Поцелуй служил не только для приветствия или прощания. Часто поцелуем подтверждалась, скреплялась клятва, присяга, которая становилась нерасторжимой (то есть неповрежденной): так возникло устойчивое сочетание *целовать крест* (“присягать”, “обещать”, “давать клятву”, которая скрепляется поцелуем святого предмета, чаще всего – креста) или *крестное целование* в противоположность лжеприсяге – *кривому целованию* (Даль. Т. IV). Если человек нарушал обещание, говорил, что он *разрубил или порубил крестное целование* (то есть повредил его, лишил целостности). (Голубина книга. Русские духовные стихи XI–XX вв. М., 1991.) Именно поэтому слово *целовальник* – обозначает не любителя целоваться, а “присяжного человека, соединенно-

го с целованием креста, присягой, часто занимавшийся сбором податей, продажей вина и соли” (Срезневский И.И. Материалы для словаря древнерусского языка. М., 1996. Т. IV). Позднее *целовальниками* стали называть кабатчиков, торговцев вином. Такому целовальнику Пугачев заложил свой тулуп перед тем, как встретился с Гриневым: “был тулуп, да что греха таить? заложил вечер у целовальника...” (Пушкин. Капитанская дочка). Тот же, кто любил целоваться, назывался на Руси *целовальщик* (Даль. Т. IV).

Троекратно целуясь, верующие христиане приветствовали и продолжают в знак уважения и любви приветствовать и поздравлять друг друга, особенно в Прощеное Воскресенье и на Пасху. Такое целование называется *святым*, так как апостол Павел в I Послании к Коринфянам призывал всех христиан: “Приветствуйте друг друга святым целованием” (16, 20). Прощеное Воскресенье или последний день масленицы в народе иначе назывался *целовник* – день, когда, как указывал В.И. Даль, “все целуются и прощаются, то есть просят друг у друга прощения” (там же). Братским целованием приветствовали друг друга монахи при пострижении в схиму (Дьяченко Г. Полный церковно-славянский словарь. М., 1993). *Последним целованием* называли “чистый поцелуй как знак прощания, примирения с умершим”. Такой поцелуй являлся также и “знаком поздравления умершего с его переходом из временной жизни в блаженную вечность” (там же).



Безударные *И* и *Е* в падежных окончаниях существительных единственного числа

В.Г. ЗДАНКЕВИЧ

Для проверки написания безударных гласных в корнях слов обычно достаточно найти однокоренное слово с ударным написанием этих гласных, например: *в..дá* – *вóды*, *тр..вá* – *трáвы*, *объед..нэние* – *едн..ный*, *л..снйчий* – *лес*.

Для проверки же написания безударных гласных в падежных окончаниях существительных было бы опрометчиво опираться на ударный вариант. Например, безударное окончание *о карусэли* ошибочно было бы проверить тождественным по значению ударным окончанием *о стрелé* и в результате неверно написать “о каруселе”.

Безошибочно выбрать безударную гласную в падежном окончании существительного единственного числа может помочь другая установка:

В безударном положении, если произносится (слышится) *и*, то и пишется *и* в следующих случаях:

1) в дательном и предложном падежах: а) когда гласному *и* предшествует тоже *и* (*и* пишется после *и*); б) в существительных ж.р. с нулевым окончанием и в словах на *-мя* (*знамя* и под.);

2) в родительном падеже (у склоняемых существительных *и* или *ы*).

Примеры:

1) Кому? Чему? (дат. пад.): а) готовиться к сесси-и; б) подойти к кару-

сел-и, гулять по площад-и, приехать к матер-и, приблизиться к знамен-и.

О ком? О чём? (предл. пад.):

задержаться на сесси-и, находиться в здании-и, побывать в планетари-и, кататься на карусел-и; собраться на площад-и, беспокоиться о матер-и, говорить о знамен-и.

2) Кого? Чего? (род. пад.):

справиться у юноши, получить письмо от Марьи Ивановны, остановиться близ деревни, главная улица начинается от площади.

В остальных случаях в дательном и предложном падежах, если произносится (слышится) *и*, то пишется *е*: в дат. пад. – подошёл к юноше, обратился к Марье Ивановне, прогуливался по аллее; в предл. пад. – отдыхал в деревне, играл на рояле, участвовал в пятиборье, работал в Заполярье.

В заключение необходимо заметить, что при встрече с данной орфограммой нет никакой надобности выяснять к какому типу склонения относятся существительные. Во-первых, решение этого вопроса (о склонении) неоправданно увеличивает количество мыслительных операций на пути к ожидаемому результату. Во-вторых, установить склонение существительного – это еще вовсе не означает получить вполне определенный ответ на вопрос о написании безударного гласного в окончании. Известно, что у существительных 1-го склонения в дательном и предложном падежах в одних случаях пишется *и* (к станции, о станции), а в других – *е* (к деревне, о деревне); у существительных 2-го склонения в предложном падеже – *и* или *е* (в здании, в планетарии – в автобусе, в трамвае). Поэтому в таких случаях приходится опираться еще (помимо склонения) на дополнительные сведения: -ия -и, -ие или -ий -и, то есть следует учитывать окончания существительных еще и в именительном падеже. Все эти сведения ни прямо, ни косвенно не проясняют вопроса с написанием безударных гласных в окончаниях существительных. Надежной опорой в данном случае может служить внешний облик самих существительных.



В.Д. БОНДАЛЕТОВ, Н.Г. САМСОНОВ, Л.Н. САМСОНОВА.
СТАРΟΣЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК

Вышел в свет сборник упражнений по старославянскому языку, который можно рекомендовать в качестве учебника для студентов филологических специальностей высших учебных заведений. Издание востребовано временем – библиотеки педагогических институтов и университетов в последние годы не пополнялись такими пособиями, поэтому появление этой книги вполне своевременно (М.: “Флинта – Наука”. 2000).

В сборнике в соответствии с программой введены новые разделы “Лексика”, “Фразеология”, “Словообразование”. Безусловно, они необходимы для освоения системы старославянского языка, для лучшего овладения навыками чтения текстов, что всегда вызывает серьезные трудности у студентов. Подобранные упражнения помогают ориентироваться в определении семантики многозначных слов старославянского языка, причем постоянно проводится сопоставление с материалами современного русского языка, что значительно облегчает понимание текстов. Рассматриваются слова индоевропейского, общеславянского, восточнославянского и собственно русского происхождения, стилистические особенности старославянизмов в более поздних источниках. Студенты знакомятся с богатой фразеологией первого письменного языка славян, словообразованием различных частей речи, и это, конечно же, поможет дальнейшему изучению русского языка.

В этом пособии в приложении даны образцы выполнения анализа старославянских текстов на всех языковых уровнях, что, безусловно, является очень полезным и нужным на практических занятиях. Подробный анализ текста помогает освоить старославянский язык как систему, почувствовать его “философский и нравственно-этический потенциал как первого литературного языка славянского мира”.

Авторы сделали упор на новую концепцию изучения славилогических дисциплин в вузе, мотивированную новыми стандартами. Она предполагает строить работу так, чтобы студенты не ограничивались

пассивным знанием лишь теоретического материала (отдельных фонетических процессов, морфологических категорий и др.), а пытались решить посильные им исследовательские задачи.

Красной нитью проходит обязательное сопоставление фактов старославянского и русского языков. Вся работа по предмету направлена на осмысление старославянского языка как феномена славянской культуры.

Всего в сборнике представлено более 900 упражнений по всем разделам курса старославянского языка, охвачены все языковые уровни. Задания (и это оговорено в предисловии) делятся на следующие типы: 1) упражнения для успешного уяснения и закрепления теоретического материала по тому или иному разделу; 2) упражнения на применение сравнительно-исторического метода (с использованием данных родственных славянских и индоевропейских языков); 3) упражнения, развивающие и закрепляющие навыки этимологического анализа слов; подобные задания предполагают работу над словообразовательными и этимологическими гнездами, по установлению родственных связей между словами.

На первый взгляд может показаться, что в отдельных упражнениях очень много однотипных примеров для выполнения, и это, естественно, делает работу монотонной и скучной. Однако авторы убедительно мотивируют такое обилие материала возможностями организовать индивидуальную работу со студентами. С ними можно согласиться, ибо важность предмета в цикле историко-лингвистических дисциплин и небольшое число аудиторных часов предполагают серьезную самостоятельную и индивидуальную работу обучающихся.

В сборнике опубликован список рекомендованной литературы, который включает в себя все самые новые пособия (в основном, 90-х гг.). Он станет полезным дополнением к вышедшему в том же издательстве в 1998 году учебнику профессора кафедры общего языкознания Московского педагогического государственного университета А.М. Камчатнова "Старославянский язык. Курс лекций". На наш взгляд, подобный комплект – хорошее сочетание для глубокого и серьезного изучения старославянского языка, одного из важнейших и труднейших учебных курсов в университетах и педагогических вузах.

И.А. Королева,
доктор филологических наук
Смоленск



НЕКОТОРЫЕ УТОЧНЕНИЯ К СЛОВАРЮ

А.Н. ШУСТОВ

Наконец-то, спустя много (целых 17!) лет, когда даже самые терпеливые читатели потеряли всякую надежду, вышел в свет 9-й выпуск (буква "Л") "Этимологического словаря русского языка" (изд. МГУ, 1999). Выход этого томика, конечно, большое и радостное событие, свидетельствующее, помимо всего прочего, о том, что наука в России окончательно не умерла.

Подобно своим томам-предшественникам, 9-й выпуск сохранил все присущие им плюсы и минусы. И это понятно – ведь он готовился в одно время с ними и силами того же коллектива. Совершенно не умаляя достоинств (и главное – значения) нового издания, хотелось бы отметить одну характерную особенность некоторых словарных статей. Указывая на время вхождения в язык того или иного слова, авторы зачастую говорят об этом очень "округленно": "в середине века", "во второй половине века" и т.д. Конечно, такая "точность" сегодня уже не может удовлетворить филологов. Но и винить здесь авторов тоже нет больших оснований – ведь в их распоряжении нет достоверных сведений, которыми располагают, скажем, французские лингвисты. А перерывать "монбланы" специальных источников небольшому коллективу просто не по силам. Это можно сделать лишь "всем миром" да и то не быстро.

Попробуем на некоторых конкретных примерах "уточнить" новый Словарь.

Лайнер. В Словаре сказано, что это слово пришло к нам в XX век (100 лет – слишком большой и неопределенный временной срок!) и фиксируется в 1940 году. На самом деле появилось оно гораздо раньше:

“Лайнерами в начале века стали называть морские суда...” (Ленингр. правда. 1975. 27 июня; выделено мной. – *А.Ш.*). Его фиксирует, например, журнал “Огонек”: “К московским пристаням станут подходить четырехпалубные лайнеры [приведено фото: спроектированный Осводом речной лайнер]” (1935. № 19). Был у этого существительного и фонетический вариант: “Типизация лайнеров допустима в весьма ограниченных размерах...” (Судоходство и судостроение. 1931. № 1). Более того, уже тогда термин использовался и в качестве метафоры: «Если верблюда называют кораблем пустыни, то эти гигантские автобусы надо признать “лайнерами пустыни”» (Техника – молодежи. 1937. № 6).

Ледник – фиксируется не с 1828 года, как указано в Словаре, а гораздо раньше: “Ледники его трещали под тяжестью вкуснейших вин” (Крылов И.А. Каиб. 1792).

Либеральный. Прилагательное вошло в русский язык не в середине, а в первой четверти XIX века: “...война, объявленная со стороны Священного Союза всяким свободомыслящим (либеральным) идеям...” (Фонвизин М. О повиновении высшей власти. 1823). У этого слова были и “родственники”: 1) “В Квируги метит он, а там в Наполеоны, за ним Пилад, либералист Клерак...” (Родзянка А. 1822); 2) “Слово либерализм в это время [1816 г. – *А.Ш.*] только что начало входить в употребление” (Вигель Ф. Записки). Скорее всего оно и было основным, а остальные – уже производные от него.

Лимонка. Возможно, слово действительно появилось в период 1-й мировой войны, как утверждает (без примеров) Словарь, хотя такого вида гранат тогда еще вроде бы и не было. Но в “наше” время это слово [воз?-]родилось в самом начале Великой Отечественной войны; и то сперва в сокращенном, так сказать, “натуральном” виде: «Мой “лимон”, так называют бойцы гранату, будет очень горьким для фашистов» (Ленингр. правда. 1941. 4 сент.).

Непонятно, почему составители не включили в Словарь такие, например, слова:

Ленинизм. Его первоначальное употребление относится к периоду создания РСДРП, как синонима слова *большевизм* (надо проверить!). Оно фиксируется у Л. Троцкого (1913), Г. Зиновьева (1923), Ф. Степуна (1925) и т.д., т.е. фигурировало еще при жизни Ленина;

Летун в трех “авиационных” значениях: “летательный аппарат”, “пилот и человек, часто меняющий работу”.

Словом *летун* еще в 1882 году профессор С.И. Барановский назвал изобретенный им вертолет. *Летун* для названия летательных аппаратов встречается у поэтов: Г. Чулкова, А. Блока, И. Северянина, З. Гиппиус... Так назывался и журнал начала 1910-х годов, посвященный вопросам молодой авиации.

Этот же термин некоторое время (1909–10 гг.) распространялся и на название авиатора: “Восторженно-возвышенное удалое слово летун

существовало по отношению к воздухоплателям еще в 1840-х годах в Сибири (<...> Летун Барановского, летунья Можайского – вот те имена, которые давались летательным машинам их изобретателями, людьми, как известно, всегда возвышенного настроения. Жаль, что вместо слова летун в войсках применяется чисто служебное слово летчик, скрашивающее удаль полетов и воздушное настроение” (Летун. 1913. № 1. Подробнее см.: Русская речь. 2000. № 5. Шустов А.Н. На чем человек перемещается в воздухе).

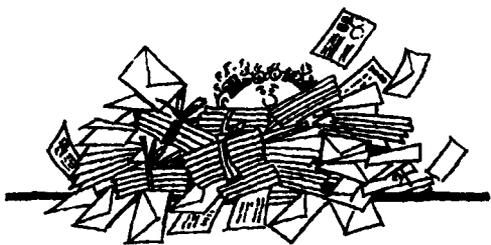
А позже существительное приобрело свое новое значение: “Мастер на все руки, но бродяга. Раньше таких звали романтическими натурами и живьем производили в литературные герои. Сейчас их зовут летунами и считают паразитами производства” (Ясенский Б. Заговор равнодушных. 1937).

Летчик. Как синоним *авиатора* и *летуна* появился где-то в 1909–10 г.: “В Петербург приехали летчики севастопольской авиационной школы” (С.-Петербургские вед. 1911. 1(14) декабря).

Первые женщины-пилоты в России назывались по-мужски: [женщина-]*авиатор* (реже: *авиаторша* или *авиатрисса*), [женщина-]*летчик*. Слово *летчица* появилось в годы 1-й мировой войны. Но из-за малочисленности авиатрисс в широкий оборот оно вошло позже – в 1920-е годы; см., например, у М. Цветаевой (в полуметафорическом смысле): “Выше! Выше! Лови – летчицу!” (Душа. 1923).

Выражаем надежду, что эти (и возможные другие) уточнения послужат скромным вкладом в будущие переиздания. А пока от души поблагодарим авторов и издателей за выпуск нового тома и наберемся терпения для ожидания очередного.

Санкт-Петербург



О знаке ударения и букве ё

Давно назрела необходимость в этом знаке. Ошибки в ударении делают речь корявой и смешной. Что спросить с простых людей, если так говорят наши “дбценты”? Дело можно поправить, если использовать в печати знак ударения, как это делается в литературе для нерусских школ.

Запомнить сотни ударений не может никто. Поэтому в западных языках существуют четкие правила. В русском же языке у одного слова может быть несколько ударений... Норма может быть только одна, все остальное – отклонение от нее.

Текст с обозначенным ударением легче читается. Проставленные ударения предупреждают нежелательные огрехи в произношении. Особенно важно ударение в школьной литературе, в именах собственных, в географических названиях, в специальной терминологии.

На каком основании буква “ё” совершенно изъята из печати?

Так что давайте на практике поставим ударения в словах и точки над “е”!

*Т.В. Лошакова,
Москва*

Уважаемая Т.В. Лошакова!

Вы отмечаете, что “особенно важно ударение в школьной литературе, в именах собственных, в географических названиях, в специальной терминологии” и “...в литературе для нерусских школ”. Это же относится и к букве ё. В “Правилах русской орфографии и пунктуации” 1956 г. употреблению буквы ё был посвящен параграф. В новой редакции орфографических правил, подготовленных в Институте русского

языка РАН, поставленные Вами вопросы рассмотрены подробнее. В них определены тексты, в которых рекомендуется последовательное и выборочное употребление ударения и буквы *ё*.

Последовательное употребление знака ударения и буквы *ё* принято в следующих типах текстов специального назначения: а) в лингвистических и большинстве энциклопедических словарей (в лингвистических словарях постановка знака ударения распространяется не только на неодносложные заголовочные слова, но и на приводимые грамматические формы, буква *ё* пишется и в односложных словах); б) в текстах, предназначенных для изучающих русский язык как иностранный; в) в книгах, адресованных детям младшего возраста; г) в некоторых учебных текстах.

В обычных печатных текстах знак ударения и буква *ё* используются выборочно в следующих случаях. Приведу этот раздел “Правил” полностью.

Знак ударения используется:

1. Для предупреждения неправильного опознания слова [если для опознания недостаточно контекста. – С.Б.], например: *большая, видение, обороны, временные, дороги, отрезать, позднее, потом, проклятый, рассыпать, стоящий, уже, узнаю, чудно* (в отличие соответственно от слов *больша́я, ви́дение, оборо́ны, вре́менные, доро́ги, отреза́ть, поздне́е, пото́м, прокля́тый, рассыпа́ть, стоя́щий, уже́, узнаю́, чуде́но*), ср. “Чудная” – название рассказа В. Короленко, “Молодец” – название поэмы М. Цветаевой.

2. Для предупреждения неправильного ударения в недостаточно хорошо известном слове, в том числе в собственном имени, например: *бунгало, гуру, Гарсиа, Конакри*.

Примечание 1. Знак ударения над буквой *е* может использоваться в целях противопоставления букве *ё*: а) для предупреждения неправильного опознания слова, например: *всё* (в отличие от *всѐ*), *берёт* (в отличие от *берѐт*), б) для предупреждения ошибочного произношения, например: *афе́ра, гренаде́р, Кре́з, Оле́ша* (фамилия).

Примечание 2. Знак ударения над словом *что* традиционно используется (в сложных по структуре синтаксических конструкциях) с целью разграничения формы относительного местоимения *что́* и союза *что*, например: *Рассказать, что́ отовсюду На меня весельем веет, Что́ не знаю сам, что́ буду Петь, – но только песня зреет* (Фет).

Буква *ё* используется:

1. Для предупреждения неправильного опознания слова, например: *всѐ, не́бо, ле́том, соверше́нный* (в отличие соответственно от слов *всѐ, не́бо, ле́том, соверше́нный*), в том числе для указания на место ударения в слове, например: *ве́дро, узнаѐм* (в отличие от *ведро́, узнаѐм*).

2. Для указания правильного произношения слова – либо редкого, недостаточно хорошо известного, либо имеющего распространенное

неправильное произношение, например: *гёзы, сёрфинг, флёр, Вёшенская, Конёнков, Нёёлова, Олёкма, твёрже, щёлочка*, в том числе для указания правильного ударения, например: *побасёнка, приведённый, укусённый, филёр, Чебышёв*.

По желанию автора или редактора любая книга может быть напечатана последовательно с буквой ё (именно так печатает свои произведения Солженицын).

Приведенные правила достаточно полно освещают затронутые Вами вопросы. На наш взгляд, последовательное употребление надстрочных знаков в обычных печатных текстах вносило бы излишнюю пестроту в текст и мешало его восприятию. Ударение и буква ё требуются на стадии обучения. Человек же, овладевший навыками чтения, воспринимает слово целиком, а не по слогам, и в определенном контексте. При чтении Вашего письма для понимания не требовались никакие надстрочные знаки. Значимым оказалось только ударение *дóцент*. Оно использовано, несомненно, с оттенком иронии. Но если мы в обычных текстах в каждом слове будем ставить ударение, то не сможем применять этот знак как выразительный прием. Надстрочные знаки следует использовать экономно – только в трудных случаях произношения и ударения или для правильного опознания слова.

Хотелось бы также сделать некоторые замечания по поводу Вашей аргументации. Вы ошибаетесь, если думаете, что в “западных странах” одноместное ударение – результат работы нормализаторов. Есть языки с фиксированным ударением (французский – на последнем, латинский, польский – на втором от конца слоге и т.д.), а особенностью русского языка является разноместное ударение. Литературные нормы складываются исторически в результате эволюции языка. Вы пишете: “Норма может быть только одна, все остальное – отклонение от нее”. Но если бы это было так, то мы и сейчас произносили бы: *музы́ка, ва́рят, валя́тся, кафед́ра, скалы́* (мн. ч.), *призра́к*, или пользовались бы такими формами слова, как *волосов, бежат*. Если Вы почитаете произведения поэтов XIX века, то увидите, насколько отличается ударение того времени от нынешнего, и не только ударение, но и грамматика, в частности, морфология и синтаксис. Приведу несколько примеров:

“Вещунья ей в ответ: Я здесь останусь смело. Вот ваши сестры, как хотят; А ведь Ворон ни жарят, ни *ва́рят*...” (Крылов. Ворона и Курица, 1812); “... Вошел. Полна народу зала; *Музы́ка* уж греметь устала...” (Пушкин. Евгений Онегин. Гл. I, 1823); “Дробясь о мрачные *скалы́*, Шумят и пенятся валы...” (Пушкин. Обвал, 1829); “Дробясь о мраморны преграды, Жемчужной, огненной дугой *Валя́тся*, плещут водопады...” (Пушкин. Руслан и Людмила, 1820); “Держаю за тобой заняты *кафед́ру* ту, с которой в прежни лета Ты слишком превознес достоинства сонета...” (Пушкин. Французских рифмачей суровый судия..., 1833); “Но если злобный человек Узнал уж зависть, то не может Совсем забыть ее

никак: Ее насмешливый *призра́к* И днем и ночью дух тревожит” (Лермонтов. Измаил-бей, 1832); “Клянуся сонмищем *духо́в*, Судьбою братьий мне подвластных” (Лермонтов. Демон, 1838); “Забытый светом и молвою, Далече от брегов Невы, Теперь я вижу пред собою Кавказа гордые *главь*” (Пушкин. Руслан и Людмила, 1820); “...И кудри черных *волосов* Упали тучей по плечам” (Жуковский. Суд в подземелье, 1834); “*Бежат* Европы ополченья” (Пушкин. Наполеон, 1821); “Он хотел взглянуть на прыщик, который *вчерашнего* вечера вскочил у него на носу...” (Гоголь, Нос, 1836).

Язык развивается, поэтому существуют варианты нормы, отражающие произношение людей нескольких поколений, живущих в одно время. Чтобы правильно произнести незнакомое слово, нужно обращаться за справкой к словарям. Наиболее авторитетным нормативным словарем сейчас является “Орфоэпический словарь русского языка. Произношение. Ударение. Грамматические формы” (под ред. Р.И. Аванесова), в котором отраженные варианты нормы характеризуются с точки зрения нормативности, указываются и неправильные варианты.

Я не хочу перегружать сведениями свой ответ, замечу только, что у защитников и противников буквы *ё* были аргументы. Историю вопроса можно прочитать в статье известного лингвиста А.А. Реформатского “О букве *ё*” (О современной русской орфографии. М., 1964). Полезно также познакомиться со статьей Н.А. Еськовой “Про букву *ё*” (Наука и жизнь. 2000. № 4).

С.Н. Борунова,
кандидат филологических
наук ©